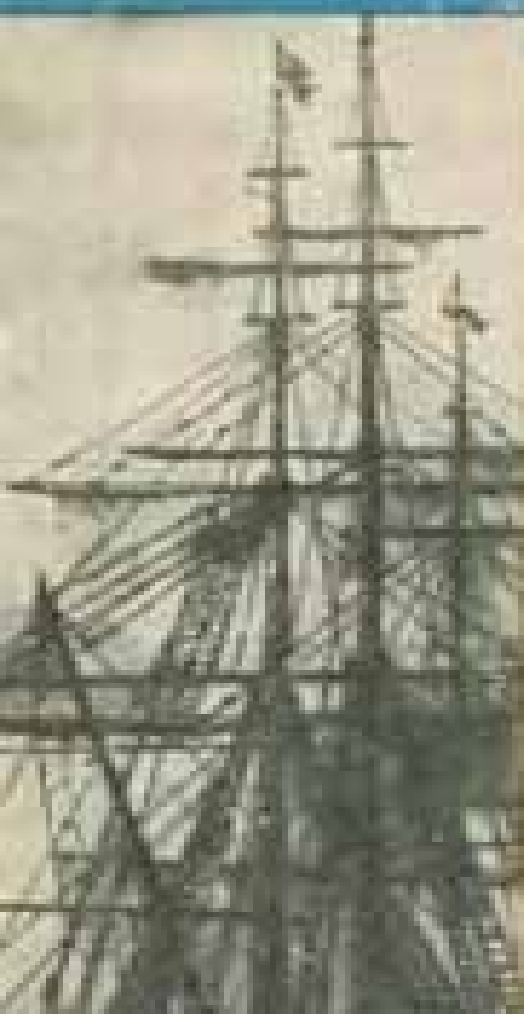


НАХИМОВ



Ю. Давыдов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга рассказывает о жизни и деятельности великого русского адмирала П. С. Нахимова.

- [Ю. Давыдов](#)
 -
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Основные даты жизни и деятельности П. С. Нахимова](#)
 - [Краткая библиография](#)
 - [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)

- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)



Ю. Давыдов НАХИМОВ



Есть формула: $D_p = 2,08(\sqrt{e} + \sqrt{h})$.

На флоте говорят кратко: «Дальность видимости». Подразумевается: «Геометрическая (географическая) дальность визуальной видимости предметов».

В формуле — «e» суть высота глаз наблюдателя, «h» — высота наблюдаемого предмета. Произведи несложные действия, получишь расстояние в милях. Все просто, когда б не добавка: «При дымке, тумане, дожде, снегопаде дальность видимости может значительно понижаться».

Указанием морской практики не должен пренебрегать и биограф. Конечно, многое зависит от «высоты» наблюдаемого, как и от «высоты» наблюдателя. Но дымка времени не поэтический трюизм, а помеха реальная. Пресловутые текущие обстоятельства могут сместить перспективу, как туман.

Опаснее всего лакейство пред личностью, чью жизнь описываешь. По колючему замечанию Маркса, один историк «только и делал, что чистил сапоги Наполеона».

«Я называю героем всякого, кто носит саблю, — иронизировал Анатоль Франс. — Будь на вас медвежья шапка, я назвал бы вас великим героем».

Величие Нахимова не внешнее, не фразистое, не броское. Оно полновесное, остойчивое, с крепким килем. И потому Нахимов не нуждается ни в «чистке сапог», ни в «медвежьей шапке».

Глава первая

Едва завязывалась артиллерийская дуэль, сигнальщики вбегали на возвышения. Вбегали легко, даже, пожалуй, щегольски, как на ванты. Они первыми видели черный полет смерти. И кричали зычно, как впередсмотрящие:

— Берегись, наша!

Или:

— Чужая!

А смерть присвистывала:

— Чьи вы?.. Чьи вы?..

— Разрешилась! — кричал сигнальщик.

И тотчас грохот: бомба «разрешилась от бремени».

Случалось, что она плюхалась где-то неподалеку, в рытвину, в яму, наполненную недавним ливнем, и тогда начинала шипеть прерывисто и злобно. А матрос-сигнальщик, озорничая, поддразнивал:

— Пить... Пить... Пить...

Нахимов объезжал севастопольские бастионы. Во всем облике Павла Степановича не было ничего воинственного, картинного: фуражка почти на затылке, сбившиеся на коленях брюки без штрипок. Он объезжал позиции на смирной лошадке, сидя в седле неловко, как сидят моряки. Слезал с лошади неторопливо и осторожно, не так, как выпрыгивал из шлюпки на влажную гальку, где сипел прибой.

Отнюдь не писанный красавец, в мешковатом сюртуке, при шпаге (трофейной, отнятой у турецкого флагмана), рыжеватенький и голубоглазый, он осматривал укрепления, разговаривал с офицерами, с матросами и солдатами, и разговор его был так спокоен, будто свист, грохот, самая смерть не имели решительно никакой важности ни для него, ни для тех, кто был рядом.

Потом он поднимался к сигнальщику. Адмиральские эполеты горели густым, спелым блеском. Неприятельские стрелки сразу примечали сутуловатую фигуру с подзорной трубой. Офицер молил Павла Степановича сойти вниз.

Нахимов отмалчивался. Иногда ворчал, что никого-с не держитс, господин офицер волен укрыться в блиндаже, а он, Нахимов, должен поглядеть, что делается у господ союзников.

Пальба не умолкала.

— Берегись! — кричал сигнальщик.
Бомба присвистывала:
— Чьи вы?.. Чьи вы?..

1

Бомбы были из каши. Хлебный мякиш раскатывали в блин, насыпали жидкой гречневой каши — получалась бомба. Бомбы швыряли в эконома, по-нынешнему сказать, интенданта, хозяйственника, едва тот показывался в столовой. «Бомбардировка» считалась бунтом.

Бунтовщиков пороли. Впрочем, бунтовали в корпусе значительно реже, нежели подвергались порке. Мальчишеские тощие зады белели на жесткой скамье. Из дежурной комнаты доносились вопли, как из зубодерни.

Жизнь почти отжив, многие бывшие воспитанники вздрагивали, вспоминая корпусные наказания. Даль (составитель знаменитого словаря) писал, что в его памяти «остались одни розги, так называемые дежурства, где дневал и ночевал барабанщик со скамейкою, назначенной для этой потехи».

Россия времен Петра представлялась Пушкину кораблем, спущенным на воду при стуке топора и громе пушек. Корабельные офицеры из поколения в поколение вступали в строй при барабанном бое и свисте розог.

В 1813 году недоросль из дворян Павел Нахимов подал прошение о зачислении в Морской шляхетский корпус. В прошении, как водится, сообщалось, что недорослю одиннадцать от роду, что родитель его отставной майор, помещик Смоленской губернии, что обучен Павел «пороссийски и по-французски читать и писать и части арифметики».

Вакансий в корпусе не было. Однако смоленского отрока зачислили кандидатом. Так же поступили и с прочими. Не различая Луконина и фон Мейснера, Ограновича и Буаселя — лишь бы дворянин.

Кто поступал в морские учебные заведения, знает, как долгие, как нескончаемые кандидатский искус: господи, боже ты мой, да когда ж, когда ж признают тебя «полноценным»?

Более двух лет Нахимов был кандидатом. Но его уже осенили паруса. Бриг ходил «между Кронштадтом и петербургскими вежами, обучая гардемарин разным поворотам и действиям парусов при всяких направлениях ветра».

В 1815 году Павла Нахимова включили в списки воспитанников Морского корпуса. С палубы «Симеона и Анны» явился он в Петербург, на Васильевский остров, в эти здания, соединенные дворами, темными коридорами и полутемными галереями.

Учили не вразвалку, плотный был учебный день: с восьми утра до полудня; с двух пополудни до шести; с семи вечера до одиннадцати. Начинали арифметикой. Очевидно, не очень-то полагались на познания, указанные в прошениях. И кадеты грызли гусиные перья, клонясь над задачкой:

Нововъезжей в Россию французской мадаме
Вздумалось оценить богатство в ее чемодане;
А оценщик был русак,
Сказал мадаме так:
«Все богатство твое стоит три алтына,
Да из того числа мне следует половина».

Успехи определялись не баллами, а словесно: «отлично»; «хорошо»; «весьма и очень хорошо»; «хорошо»; «довольно хорошо»; «посредственно».

Но если оценивать самих учителей, то... То, право, не следует полагаться на безапелляционный приговор Завалишина: дескать, «при общей серости учителей кадеты могли брать только своими способностями или прилежанием». Нет, не только! Это натяжка, преувеличение. Может, и были «серые» (в каком заведении их не бывает?), да были и отнюдь не таковские. Александр Беляев (впоследствии декабрист) описал на склоне лет Морской корпус нахимовской поры. Беляев рассказал и о прекрасном математике Исакове, и о добрейшем и дельном учителе английского языка Бругенкате, и о словеснике Груздеве, который не уступал в педагогическом даровании ни математику, ни англичанину. Наконец, в числе корпусных воспитателей был и такой высокоталантливый, образованный и гуманный человек, как Николай Александрович Бестужев.

Будущих офицеров не баловали. О молоке и сливках хранили они сладкую память, как и о домашнем, деревенском приволье. Утром и вечером давали им кипяток. Правда, полагалась еще и пеклеванная булка. И нужно сказать, вкуснейшая. Булки и квас Морского корпуса славились во всем Петербурге. В обед и ужин неизменно кормили гречневой кашей, той самой, что порою начинали «бомбы».

Коль скоро воспитанников ждала жизнь среди ветров, то и кадетская одёжа была подбита ветром. Шинелишки и фуражечки носили они легонькие, холодные. И корпусный лазарет редко пустовал.

Жизнь на море Нахимов отведал летом восьмьсот семнадцатого. Подчеркиваю: *на море*, потому что бриг «Симеон и Анна» плавал в пресноводье (от Невского бара до Кронштадта), а фрегат «Феникс» отправился в Балтику.

Флотские усматривали в «Фениксе» что-то схожее с Фениксом. И вот почему. Флот давно уж чах. Едва речь заходила о сбережении государственных средств, государь меланхолически ронял: «Флот». То же, почти механически, твердили сановники императора Александра. Скарעדничали на всем, что касалось эскадр и экипажей. Корабли плесневели в гаванях; служба тянулась, как на дорогах; служители бедовали, как церковные мыши.

И вдруг... «Феникс» пойдет в Швецию, в Данию! Разумеется, не бог весть что за поход. Но после Маркизовой лужи, как прозвали Невское взморье, куда министр маркиз Траверсе только и решался посылать суда, после эдакой-то лужи поход «Феникса» казался знамением возрождения флота.

Не берусь судить, чего было больше: желания ли показать себя в иностранных портах или желания показать гардемаринам иностранные порты. А может, и то и другое вместе понудило казну раскошелиться. Из Балтийской эскадры выбрали красавца и ходока, из гардемарин назначили лучшую дюжину. Понятно, не обошлось без тетушек и дядюшек: троих определил по протекции сам господин министр. Зато уж остальные попали по достоинству. Среди них Нахимов, его друг Завалишин, Даль...

Кроме официальных документов плавания, сохранились и документы личные. Один — Дмитрия Завалишина, другой — Владимира Даля. Первый опубликован в старинной периодике, второй найден в фондах бывшей Румянцевской библиотеки и опубликован частично.

Гардемарины на фрегате вели поденные журналы. К сожалению, записи Нахимова до сей поры не обнаружены. Это печальное «к сожалению» будет тенью следовать за нами. Жизнь Нахимова, обильно оснащенная рапортами, отношениями и донесениями, крайне бедна неказенной документацией. Прямо-таки поразительно и обидно бедна для времен дневниковых, мемуарных. И вот уж сейчас, рассказывая о походе фрегата, волей-неволей обращаешься к показаниям современников, однокашников, а не самого героя.

Будущему морскому офицеру практика зачастую трудна не трудом, а

чувством ответственности. На корабле (быть может, отчетливее и резче, чем где бы то ни было) ясна зависимость всех от каждого и каждого от всех. Этим чувством ответственности прониклись юные моряки, как только их принял под свою руку лейтенант Милюков.

Мардарий Васильевич исполнял должность старшего офицера. А командира поглощали особые заботы: обрядив саблю в серебряную портупею, он приноравливался носить ее по-кавалерийски, на отлете; рассеянно улыбаясь, командир воображал, как будет хорош при дворах их величеств королей Швеции и Дании, в загородных замках и на светских балах. По сей причине лейтенант Милюков, в сущности, исполнял на фрегате и обязанности капитана.

Гардемарины работали ровней матросам, стояли офицерские вахты. Милюков доверял им. Доверяя, замечал: «Будьте внимательны и благоразумны. Помните, что в случае несчастья вы останетесь в стороне, отвечать буду я». Его уроки сводились к следующему: быстрота без торопливости, находчивость без опрометчивости, обдуманность решений и твердость исполнения.

Старший офицер любил лихость, молодечество, вкус к риску, то, что кует натуру спартанскую и бравую.

Понукать гардемаринов нужды не было. Их, пожалуй, следовало несколько удерживать «от безумной отваги». Для удержу присутствовал корпусный наставник лейтенант князь Шихматов.

К ужасу доброго князя, гардемарины бегали по фальшборту; стремительно, вниз головою скользили по тросам; перебирались с мачты на мачту, как ярмарочные канатоходцы. Нахимову однажды эта акробатика обошлась недешево — он сильно расшибся. Но Милюков, должно быть, успокоил его известной сентенцией: до свадьбы заживет. И точно, зажило, хотя Нахимов до свадьбы не дожил.

Шхерные воды, глубокие и темные, отражали рослые сосны, гранитный хаос. Южный берег слабо желтел дюнами, песчаными отмелями. Лениво набухали кучевые облака, дули ветры западных румбов. С палубы фрегата открылась Нахимову краса Балтики. Она трогала сердце северянина.

Иное возникало в городах, городках, крепостях. Их рыцарский облик, шпили и башни, церковный орган, их улочки-ущелья могли занимать ум, но сердце оставляли спокойным.

В сумрачных арсеналах и сырых адмиралтействах гардемарины не таращились: все походило на знакомое, кронштадтское. Резиденции короля Швеции, короля Дании не исторгали восторженного «ах!» — гардемарины

дома любовались Петергофом.

Спустя годы Нахимову предстояло увидеть Свет. Покамест он увидел то, что называлось светом. Гардемаринов усердно приглашали на балы, прогулки, парадные обеды. Любезная шведская королева поила их лимонадом. Бывший наполеоновский маршал Бернадот (будущий король Карл XIV) потчевал их пуншем, датские белокурые дамы — сладостями и кофе. Гардемарины шаркали ножкой и на дурном французском отпускали не бог весть какие комплименты.

В первый раз в жизни Нахимов, что называется, вращался в сферах. И в последний. Оно и к лучшему. Все бонтонное было не по сердцу юноше. Его сердце уже навсегда, до штуцерной пули, принадлежало морю и кораблям.

2

Мичманом начиналась офицерская иерархия на флоте. На мичмана экзаменовали — два десятка предметов, от закона божия и грамматики до высшей математики, и корабельной архитектуры.

Комиссия собралась во второй день нового, восьмьсот восемнадцатого года. Более двух недель высшие офицеры, задубелые в морях и пожухшие в министерстве, испытывали сто десять юных душ. Души трепетали, радовались, печалились и опять трепетали.

Нахимов шел с оценкой «весьма хорошо», «очень хорошо». Он финишировал шестым. Пятеро дали ему фору. Но из них лишь одного запомнила история флота: большого приятеля нашего героя, Михаила Рейнеке, впоследствии выдающегося гидрографа. Остальных, как это нередко бывает с «отличниками», история позабыла.

Нахимов всю жизнь любил Рейнеке. Большинство частных писем Нахимова адресовано «любезному другу Мише», «любезному другу Михаилу Францевичу». Взаимное чувство — доверительное, очень искреннее — прошло испытание временем и не выцвело.

(Биографы адмирала Нахимова, упоминая Рейнеке, прибавляют несколько любезностей чисто профессионального свойства. Заслуги нахимовского друга неоспоримы: неутомимый труженик науки отдал годы и годы познанию отечественных морей.

Но он не был ученым сухарем. И не потому, что долго «размокал» в соленой воде. В отличие от Нахимова, которого иногда попрекают — на мой взгляд, не без основания — в каком-то нарочитом самоограничении

кругом офицерской, корабельной, флотской деятельности, в отличие от него Рейнеке не чуждался интересов общественных, политических.)

В феврале стоило зажечь толстую свечу в храме Николы Морского: Нахимова произвели в мичманы. Однако поначалу служба как-то не ладилась. Не то чтобы служитель отлынивал, нет, не он один — большинство заспотыкалось, ибо флот лишь морщил Маркизову лужу, а экипажи трамбовали столичный или кронштадтский плац.

Несколько лет кряду Нахимов скучал то «при берегу», то «в стоянии на рейде». И в его послужном списке обозначилось как вздох: «Не имел случая отличиться».

Правда, имел случай оглядеться. Флотские жили худо. Мичман получал шестьсот ассигнациями в год. Петербургская доровизна мигом опустошала карман, а кронштадтские цены держались чуть не вдвое против столичных. Квартирных денег, грустно шутили мичманы, хватало, пожалуй, на то, чтоб на извозчике доехать от канцелярии до квартиры. Больше половины жалованья забирали портные и сапожники. Сшить шинель добротного сукна позволяли себе немногие. А уж успеть за модой и подбить шинель шелком-левантином решался лишь отчаянный фронт. Мичманам и лейтенантам оставались в утешение капитан-лейтенанты. Получая немногим жирнее, эта публика — уже тридцатилетняя, женатая, семейная — едва ли не погружалась в смутную бедность.

Ради экономии младшие офицеры (по-тогдашнему обер-офицеры) селились артельно, персон по восемь-десять. Тут выгода была в приварке. В общий котел попадал и рацион денщиков. Их благородия обходились одним вестовым, за прочих — отдавай харч натурой.

При столь едкой скудости разительно выступало роскошество флагманов и портовых чиновников. Грабеж казны гневил сверстников Нахимова. Михаил Бестужев печалился в письме из Кронштадта: «Так, любезная матушка, чем доле я остаюсь в этой службе, тем более и более вижу подлые поступки начальников, которые охладили бы жар самых пылких поклонников Нептуна». Завалишин тоже клеймил воровские склонности почтенных превосходительств, отмечая притом безусловную честность молодых офицеров.

Поколение Нахимова вступало в жизнь после грозы двенадцатого года. Никогда еще Россия не стояла так высоко, никогда еще русское имя не звучало так громко. В гордом чувстве отмщения утихла трагедия первых месяцев нашествия, хотя Москва еще лежала «в унынии, как степь в полнощной мгле», по выражению начинающего поэта Пушкина.

Победителей не судят, да зато победители судят. Многие размышляли

и сопоставляли. Они видели родину в неволе, себя — невольниками. Для того ли, думали они недоуменно, с горечью, для того ли мы освобождали Запад, чтоб на Востоке найти прежние цепи и прежнее рабство?

Истоки декабризма известны. Распространенность либеральных настроений тоже. Морское офицерство дало немало декабристов. Не случайно Рылеев советовал обратить особенное внимание на кронштадтцев.

Если на сходках «кавалеров пробки» пели: «Поклонись сосед соседу, сосед любит пить вино», то в кронштадтских артелях декламировали:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
правят.
Ты скажи, говори,
Как в России царей
давят.

«Время, — писал Завалишин, — было богато событиями, вызывающими неудовольствие: и вмешательство в чужие дела для подавления свободы, и военные поселения, и Библейское общество, и пр. — все подавало к этому поводы».

Однако в Нахимове не обнаруживается даже слабенькая оппозиционность. Но, может быть, стоит призадуматься над несколькими мемуарными строками Завалишина?

Дмитрий Иринархович отличался ярким дарованием, мыслил бурно, жаждал деятельности широкой, общественной, не удивительно, что его привлекли в Северное общество и не удивительно, что он очутился за решеткой, а потом и в Сибири.

Так вот, Завалишин, оказывается, *очень дружил* с Нахимовым: на берегу жили они в одной квартире, на корабле — в одной каюте. Завалишин говорит: «Нахимов стал неразлучным моим товарищем».

И тотчас приходит на ум: «Скажи мне, кто твой друг...» Если будущего декабриста связывали с будущим адмиралом такие отношения, то... Но, вспомнив правила, вспоминаешь, что у них всегда есть исключения.

Будь Нахимов хоть в малой дозе единомышленником декабриста, Завалишин, конечно, не преминул бы оттенить это родство. Ведь он мемуары писал не таясь, после амнистии, после Сибири, да уж и многие

упомянутые им лица, Нахимов тож, удалились в мир иной.

Приятельство объяснялось, очевидно, не сходством политических воззрений, но обоюдным живым интересом к профессии, наконец попросту тем общительным открытым чувством, которое нередко в молодых людях.

Другой современник знал Нахимова уже в эпопеях с орлами. Этот наблюдатель тонко и точно определил капитальную нравственную кладку, моральное кредо Павла Степановича. «Адмирал никогда не забывал, что он дворянин и гордился этим, но в основании этой гордости у него лежали высокие понятия о чести и достоинстве офицера-дворянина. В его представлении дворянин — образцовый слуга отечества, образец для простых людей — матросов. Офицер-дворянин должен понимать, чувствовать, что матросы — это настоящие защитники отечества, на них держится вся служба; нужно сближаться с ними, просвещать их, помогая им тем самым выполнять свой долг перед родиной».

Необходимо отмежевать Нахимова-молодого от Нахимова-зрелого; отношение к «нижним чинам», к матросам менялось с возрастом. Понимание — полное, емкое — роли и значения матросов пришло к нему не сразу.

Итак, мичман начинал, как многие. Тянул повседневность, довольно монотонную. Стоял в караулах. Лавировал не далее Красной Горки. Случился еще и пеший переход в составе 23-го экипажа. Зачем, для чего тащились в Архангельск — документы не освещают. Сдается, напрасно: в устье Северной Двины послушали вой метелей да и воротились восвояси, в Кронштадт.

Между тем были ведь мичманы, отмеченные перстом Судьбы. Им завидовали. Не только потому, что у избранных увеличенное жалованье, даровая квартира, то бишь каюта, особый порцион. И не только потому, что кругосветное плавание сулило орденский крест.

Охота к перемене места как талант: есть так есть, а нет — так уж не взыщите. Но моряк (если он моряк, а не всего-навсего обладатель кортика) всегда мучим жаждой странствий, неодолимой тягой к убегающим горизонтам. «Плывать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо».

Неприглядное флотское бытие времен министерства де Траверсе отмечено и современниками и историками. Однако и в те сумеречные годы была продушина для упругой струи свежего воздуха.

Здоровая и здравая часть «морского сословия» не мирилась с Маркизовой лужей. Для людей этих не было на свете ничего желаннее и

лучше похода вокруг света.

Мыслящие «адмиралтейцы» еще в XVIII веке сознавали: лишь дальние плавания пестуют «добрых и искусных» служителей эскадр, с которыми «в случае войны выйтить против неприятеля будет неусомнительно».

Идея регулярных кругосветных плаваний была самой плодотворной, необходимой, чаемой и полезной в те годы, когда Нахимов начал палубную карьеру.

Правда, эпоха русских «кругосветок» началась еще в тот год, когда Нахимов лежал в пеленках: в августе восьмьсот третьего Крузенштерн с Лисянским отправились «в первый раз в столь далекое странствование», а едва они вернулись, как в Кронштадте снарядили «Диану» под командой Головнина. Но потом наступил перерыв: Европа корчилась, ее жалили золотые пчелы Наполеона; засим грянула Отечественная, продолженная освободительными войнами на Западе.

«Кругосветки» возобновились, когда Нахимов уже надел мундирчик Морского корпуса. И приглядеться, тут ведь не одна, так сказать, техническая сторона дела. Нет, тут сказывался дух патриотической гордости и желания служить отчизне, который столь ослепительно вывихрился из двенадцатого года и заграничных кампаний. Тут сказывалось упорное стремление лучших людей флота поддержать и взбодрить детище Петра Великого. Тут, наконец, сказывалось и упрямое (подчас до зубовного скрежета) сопротивление тем сановникам, которые объявляли Россию державой континентальной, а флот — бесполезным и дорогостоящим «довеском» к сухопутному государству.

Конечно, военные моряки усматривали в «кругосветках» прежде всего отличную возможность настоящей боевой подготовки в мирных условиях: океанская безбрежность, сложнейшие и разнообразные навигационные условия, закалка характеров и сил физических в дни штормовых шабашей — все это было такой «академией», какую Маркизова лужа никак дать не могла.

Но вместе с тем военные моряки помнили и наказ основателя русского регулярного флота: победив неприятеля, надобно возвеличивать отчизну «приращением» в науках и искусствах. А дальние походы были громадным поприщем работ географических, гидрографических, метеорологических.

Десятилетия кругосветных плаваний создали эпопею тяжких испытаний и радостей открытий, ибо море, по слову Гюго, «это великая опасность, великий труд, великая необходимость». И каждому моряку, особенно моряку «дальновояжному», адресованы его же строки: «Океан

неисчерпаем, а вы смертны, но это не страшит вас. Вам не суждено увидеть его последний ураган, а ему суждено увидеть ваше последнее дыхание. Отсюда ваша гордость, и я ее понимаю».

Флоту любой великой державы сделали бы честь русские кругосветные походы. И само по себе «исполнение» их, и научные наблюдения, произведенные офицерами, и публикация отчетов вкупе с картографическими материалами — неопровержимое доказательство не только наличия превосходных командиров и отменных матросов, вчерашних пахарей и пастухов, но еще, в частности, и того, что на Васильевском острове, в корпусе потчевали кадетов не одной лишь березовой кашей.

Когда Нахимов переступил порог Морского корпуса, лейтенант Михаил Лазарев «переступил» Балтику — ушел на корабле «Суворов» в кругосветное плавание. Еще рдела звезда Наполеона, еще император французов отбивался как вепрь, еще пламенело небо Европы, но уже возобновились «кругосветки», прерванные войнами.

В восемьсот пятнадцатом лейтенант Отто Коцебу, командир брига «Рюрик», тоже ушел в дальний вояж. Потом выбрал якорь все тот же, едва передохнувший «Суворов», но уже под водительством капитан-лейтенанта Леонтия Гагемейстера. А в дни приятной прогулки «Феникса» Кронштадт покинул шлюп «Камчатка» капитана 2-го ранга Василия Головнина.

Однако все это, как говорится, было не про Нахимова писано: он еще воспитывался, учился. Но вот уж надел мичманский мундир. Аттестации не лгали: К «службе усерден и знающ»; «поведения благородного, в должности усерден»; «должность исполняет с усердием и расторопностью»... Короче, один из лучших, один из достойнейших.

На глазах у такого мичмана завязалось предприятие громадное, необычайное. Летом 1818 года над кронштадтскими рейдами витала крылатая Слава, как над въездной аркой нового петербургского Адмиралтейства.

«Восток» и «Мирный» (Беллинсгаузена и Лазарева), «Открытие» и «Благонамеренный» (Васильева и Шишмарева) снаряжались на поиски неизведанного. Первая пара — Южной матерой земли, Антарктиды; вторая — в Берингов пролив и далее, туда, где в туманах, в толчее битого льда, быть может, пенилась свинцовая волна Северо-Западного прохода. Великие загадки географии...

К тому ж еще один ходок, пятый, в это лето бодро вытянулся из гавани, намереваясь пуститься вдогонку — корабль «Бородино» лейтенанта Панафидина. Черт подери, Панафидину ведь тоже нужны мичманы...

А умелый, проворный, старательный, дисциплинированный мичман Нахимов оставался «при берегу». Нет, право, станешь тут мрачно хмуриться, цедя сквозь зубы непечатное.

Монотонность пресеклась в 1822 году. Будто солнце прорвалось сквозь унылые тучи. Громадная радуга одним концом окунулась в Маркизову лужу, другим — в Великий, или Тихий. Под этим сводом вообразился Нахимову божий мир: континенты и океаны, гавани и горы, созвездья и закаты. Все сверкало, искрилось, звало и манило.

Корабль назывался «Крейсер». Даль ловко толкует глагол «крейсировать»: «крестить по морю»; потом поясняет: наблюдать за неприятелем, охранять берега.

За океаном, в Северной Америке, лежали русские колонии. Ими владела Российско-Американская компания. Компания находилась под эгидой царского правительства. Боевые корабли — носители андреевского флага, петрозаводских пушек, олонцевских и новгородских парусов — обеспечивали престиж короны и надежность купеческих grossбухов.

«Крейсер» посылали для наблюдения за соперниками — англичанами и североамериканцами. «Крейсер» назначался для крейсирования у мрачных скал и смиренных елей Русской Америки. Путь к ней вел через океаны.

Командирами кругосветных походов избирались люди опытные и твердые. Твердых находили немало, опытных — мало. В числе последних редкий сравнялся бы с Лазаревым. Михаил Петрович уже дважды огибал земной шар: на «Суворове», потом на «Мирном», в знаменитой антарктической экспедиции.

Лучшие годы свои Нахимов прослужил с Лазаревым. В самые трагические месяцы жизни, месяцы севастопольской обороны, Нахимов как бы ощущал на себе испытующий взгляд Лазарева.

Лазарев, несомненно, был крупной личностью. Дело свое (военно-морское, навигаторское) изучил он превосходно. В характере Михаила Петровича всего приметнее воля. Привыкнув бороться морские волны, он не уступал и волнам житейским.

Один лишь антарктический поход внес бы его имя, выражаясь высокопарно, в скрижали географической науки. Один лишь Наваринский бой — в скрижали военной истории. Но главным его жизненным подвигом

явилось то, чему он отдал долгие годы: созидание Черноморского флота, пестование черноморских моряков. Он учил тех, кто немного времени спустя после его смерти отстаивал Севастополь.

Лазарева Нахимов знал задолго до плавания на «Крейсере», как знали все балтийцы. Знал круглолицым лейтенантом, чьи губы сердечком еще не приняли усталого выражения, а бакенбарды котлетками еще не поседели. То еще не был огрузневший человек, которого Карл Брюллов усадил в кресло пред античной колонной и попросил скрестить руки. Однако, принимая «Крейсер», то уже был знаменитый мореход, произведенный через чин — минуя капитан-лейтенанта — в капитаны 2-го ранга.

Никто не заказывал мне бронзовый бюст свиты его величества генерал-адъютанта Лазарева. Надо, не обинуясь, сказать: Лазарев был жесток. Не суров, как неизменно повторяют его апологеты, а именно жесток. Русский барин, сын сенатора, потомственный крепостник, он окончательно «закалился» волонтером британского флота. Английский матрос считался почти каторжником; английский морской офицер — почти надсмотрщиком. Переняв в эскадрах «владычицы морей» все лучшее, Лазарев перенял и все худшее.

Некоторые черты его нравственной физиономии указал Завалишин. Он служил на «Крейсере». И дважды (много лет спустя) мысленно возвращался на фрегат — в пространном журнальном очерке и в своих «Записках декабриста».

Наверное, многих читателей царапало «ячество» автора. Мемуарист имеет право «якать»; Дмитрий Иринархович, однако, злоупотреблял этим правом. Надо считаться и с отрицательными качествами самого мемуариста. А они были. В сибирской ссылке известный революционер Бакунин выслушал от престарелых декабристов немало нареканий на Д. И. Завалишина: человек желчный, самолюбивый, недобрый... И все же не надо прятать его свидетельства.

Сколь бы желчным самолюбцем ни был Завалишин, он не имел к Лазареву личных претензий. Напротив, Лазарев отзывался о нем с явной симпатией (даже тогда, заметим к чести Лазарева, когда бывший подчиненный обретался в местах «не столь отдаленных»), и Завалишин знал об этом, ему это было приятно, лестно. Ан все ж Дмитрий Иринархович не счел возможным причислить Лазарева к лику святых, хотя и отдал должное способностям и силе воли Михаила Петровича.

Не стану перебирать грехи Лазарева, названные Завалишиным. Но один представляется важным уже потому хотя бы, что Нахимов, как и другие молодые офицеры, смотрел на своего капитана снизу вверх. Так вот,

Лазарев, утверждает мемуарист, и его утверждение нетрудно подпереть примерами, Лазарев «был жесток по системе». Не горяч во время корабельных работ (как, скажем, Нахимов), не безотчетно-вспыльчив, но холодно, расчетливо, убежденно жесток с «нижними чинами».

И сдается, виною тому не только английская флотская выучка; ее ведь отведали и такие отважные русские пловцы, как Головнин, Крузенштерн, Лисянский, полной мерой отведали, но остались людьми гуманными, не утратив притом военной взыскательности; нет, виною тому, пожалуй, не только британские палубные нравы, а и душевный склад самого Лазарева.

Остановиться на этом приходится не ради уничтожения крупного флотоводца, а для того, чтобы уяснить условия, «систему», в которых очутились молодые офицеры вкупе с Павлом Нахимовым.

Не пощадив Михаила Петровича, мемуарист не особенно-то любезен и с его подчиненными. Не амнистировал он и Нахимова, уж на что друг-приятель. В Нахимове раздражало Завалишина слишком, как он находил, рьяное отношение к службе. Нахимов, извольте ли знать, «выказывался» перед Лазаревым. Конечно, можно попросту не расслышать старчески дребезжащий голос мемуариста. Боюсь, однако, не покажется ль сия глухота уловкой панегириста?

Ладно, пусть «желание выказаться». Но перед кем? Перед командиром высоко, искренне чтимом! Перед тем, кто, как и двадцатилетний лейтенант, обожал свое дело, свою профессию! Наконец, давно уж признано: плох солдат без маршальского жезла в ранце. Иначе: плох воин — рядовой ли, офицер ли — без честолюбия. Правда, честолюбия, не преступающего границы порядочности. Худо другое честолюбие — не разбирающее средств. Но тогда это уж карьеризм.

А Завалишин не только не приводит ни единого случая неблагородства Павла Степановича, но и рассказывает, как Нахимов «не поколебался ни минуты, когда я раз послал его почти на явную смерть спасти матроса». «И заслуга его, — продолжает Завалишин, — тем более явнее, что он повиновался мне, хотя был и старше меня и не был на вахте».

Спокойная храбрость Нахимова сродни скромной неколебимости толстовского капитана Тушина. Именно в ней сердцевина нахимовской натуры. А недостаток внешнего лоска, рыжину и сутулость мы, ей-богу, как-нибудь уж извиним Павлу Степановичу.

Заканчивая придирчивый обзор корабельного начальства, Завалишин не забыл и соплывателей, один из которых был призван заботиться о физическом здравии экипажа, другой — о духовном. Медику Алиману выставлен высший балл: прекрасный врач и образованный натуралист. Зато

иеромонах Иларий отделан на все корки: казака с тихого Дона, мнившего себя духовным пастырем, костит Завалишин горчайшим пьяницей и самовлюбленным невеждой.

Отчеты и описания русских кругосветных походов занимают не одну библиотечную полку. Разнясь стилистикой, они сходны обилием наблюдений, сведений, советов. Авторы заботили не писательские лавры, а практическая польза последователей. И не потому ли командиры-«кругосветники» ограничивались лишь краткими и общими похвалами команде или указывали два-три случая выдающегося мужества «нижних чинов»?

Завалишин подробнее прочих рассказывает о рядовых служителях. «Дружна была у нас команда, несмотря на самый разнородный состав ее, так что, взявши даже одних лучших матросов, они принадлежали к трем разным племенам. Лучшими матросами были так называемые архангельские школьники, юнги (морские кантонисты), дети матросов или жителей подгородной архангельской слободы Соломбалы, финляндцы, из живших в Петербургской губернии, и, что особенно замечательно, казанские татары... Никаких крупных ссор, а не то что драк — никогда в команде не было». И далее: рядовые служители без малейшего ропота подчинялись боцману Рахмету, «человеку серьезному, трезвому», «большой веротерпимости».

Ласковым словом поминает мемуарист тех, кто на реях управлялся с парусами, работал тяжелую палубную работу посреди грохота соленых валов. И не тогда ли, не в этом ли долгом, трехлетнем плавании шевельнулась у Нахимова мысль, что матрос императорского флота достоин лучшей участи? Может быть, я тороплюсь?.. Но все ж сдается, что проблеск чего-то похожего шевельнулся в душе Нахимова на борту фрегата «Крейсер».

«Крейсер» был снаряжен превосходно. Фрегат с его техническими усовершенствованиями, щегольской «выправкой», духовой музыкой и песельниками, с добрым запасом продовольствия и обмундирования, — лазаревский фрегат послужил образцом для будущих лазаревских эскадр на Черном море.

Теперь пора в дорогу. На дворе — август. Прелестный балтийский август 1822 года.

Русские кругосветные походы вершились двумя генеральными маршрутами. Первый ложился в западном направлении, то есть вокруг мыса Горн и затем, на возвратном пути из Великого, или Тихого, вокруг мыса Доброй Надежды. Второй — в восточном, то есть вокруг мыса Доброй Надежды и затем вокруг мыса Горн.

«Крейсер» одолел восточный маршрут.

Фрегат имел следующие — разной продолжительности — якорные стоянки:

Копенгаген;
Диль и Портсмут (Англия);
Санта-Крус (о-в Тенериф);
Рио-де-Жанейро;
Деруэнт (о-в Тасмания);
Матаваи (о в Таити);
Ново-Архангельск (о-в Ситха);
Сан-Франциско;
Рио-де-Жанейро;
Портсмут;
Кронштадт.

Дольше всего фрегат «Крейсер» нес паруса на переходе из Калифорнии в Бразилию — девяносто три дня.

Не думаю, чтобы многим нынешним читателям приглянулись поденные записки старинных мореходов. Мы привыкли к динамичности. А записки эти — неторопливые, обстоятельные. Они валкие, как баркасы. Однако неоспоримое их достоинство — искренность. На одном из отчетов русского «кругосветника» эпиграф гласит: «Моряки пишут худо, зато искренне». Правдивость стоит дорого. Во всяком случае, она искупает стилистические недостатки. Или то, что современный вкус таковыми считает.

Но и нынешний читатель, полагаю, не остался б равнодушным, попадись ему не типографское изделие, а рукопись, подлинная рукопись моряка-парусника. Бумага, бурые или темные чернила, пометки и вставки, сокращенное или неразборчивое слово — все это одаряет иллюзией непосредственного общения с автором, хотя подчас и затрудняет прочтение.

Нахимов не оставил путевого дневника. По крайней мере, доселе он не обнаружен. Быть может, упорного разыскателя когда-нибудь увенчает

успех. А покамест биограф Нахимова вынужден идти, как сказал бы штурман, параллельным курсом, чтобы восстановить картины живого, блещущего, грохочущего или тишайшего мира. Те образы мира, которые вставали перед лейтенантом и с палубы фрегата, и в дни портовых роздыхов. Поможет не только Завалишин. Были и другие современники и знакомцы Павла Степановича, офицеры Балтийского флота, которые ходили вокруг света — одни несколько раньше «Крейсера», другие — чуть позже лазаревского фрегата.

Сухопутные россияне обычно «относили» морские бури в загадочные и волшебные широты, где обитают какие-нибудь «арапы». Между тем большинство наших пловцов выдерживали серьезнейшие испытания отнюдь не в дальних краях. Угроза гибели зачастую наступала в узкой, туманной, коварной полосе меж берегами Франции и Англии.

Так приключилось с предшественниками Нахимова — Лисянским и Крузенштерном, Головинным и Коцебу... Последний, например, писал: «Мысль потерпеть кораблекрушение при первом шаге к весьма удаленной цели жестоко меня терзала». Собственно, и в океане вряд ли кто тонул в охотку, но ведь и впрямь дьявольская жестокость грохнуться за порогом дома.

Нелегкий иску постиг и фрегат Лазарева.

Поначалу резкое падение барометра, непременный вестник бури, загнало «Крейсер» в Диль. Рейд был бурный. Однако все же рейд. И фрегат, поливаемый холодным осенним дождем, смиренно дожидался милости бога морей.

Дождь. Двинулся в Портсмут. Но едва исчез Диль, как опять заштормило. Потом взялось трепать вовсю. В кают-компани заплясали дубовые стулья. На палубе «плясала» команда, едва управляясь с парусами.

«Были у нас и впоследствии трудные минуты, — вспоминал Завалишин, — у берегов Тасмании и у северо-западного берега Америки, но никогда мы не находились в такой продолжительной опасности, как в Английском канале эти дни 1 и 2 октября: в течение двух суток никто не сходил с верху». Но, продолжает он, «хорошие качества фрегата замедлили его гибель до наступления более благоприятных обстоятельств: в этом и заключалось наше спасение; но не переменись ветер, гибель все-таки была бы неизбежна. Дело в том, что нас загнало как бы в полукруглую бухту или залив, и ни при одном из возможных направлений курса мы не могли миновать оконечностей бухты, а между тем, лавируя в тесном пространстве, мы, вынужденные часто поворачивать с одного галса (бокового направления) на другой, теряли, как обыкновенно это бывает при

буре, и во время самого поворота, и от дрейфа, и все более и более приближались к берегу. Корабль с менее хорошими качествами давно был бы выброшен на берег, наш же фрегат продержался настолько, что, заметив при одном повороте, что ветер начинает меняться, мы немедленно взяли направление на ту оконечность, которую ветер дозволил бы обойти и выбраться на свободное пространство. Мы прошли эту оконечность, что называется, в обрез и затем вошли благополучно в Портсмутский рейд. Утомление всех было крайнее, и потому Лазарев, оставя фрегат на попечение лоцманов для наблюдений за приливом и отливом, дозволил всем лечь спать — вахтенным на палубе, а остальным в каюте, — и мы спали истинно богатырским сном целые сутки, отказавшись от обеда и ужина и выпивши только по чашке чаю, и то не сходя с койки».

Из Портсмута Нахимов с двумя товарищами ездил в Лондон. Там они прожили несколько дней. Обзаводились навигационными приборами отменной точности: в те времена не казна за них платила, а каждый офицер из своего кармана.

Да, забыл сказать! Дорогою из Портсмута было маленькое забавное происшествие. В дилижансе, кроме офицеров, ехал почтенный англичанин с прехорошенькими дочерьми. Путники наши обменялись (разумеется, по-русски) лестными замечаниями о девицах. А в Лондоне англичанин-папа распростился с офицерами... по-русски. Оказывается, и он, и его наследницы жили в Архангельске. И кстати, прибавили юные мисс со смехом, кстати, в одном доме на каком-то вечере познакомились и вот с этим мистером, и они указали на совсем переконфузившегося лейтенанта Нахимова.

Лондон, хотя и громадный, хотя и на весь свет славный, не восхитил Нахимова. Грязные берега Темзы как сравнишь с невским береговым гранитом? Или эти кривые и тоже грязные улицы с петербургскими проспектами? Вот разве Риджент-стрит еще могла тягаться с ними.

Нахимов, как и его друзья, с самого начала путешествия взяли за правило не раскошеливаться ради заграничных изделий и всяческих приманчивых вещей, которые мы сейчас назвали бы сувенирами. К чертям! Они будут тратить лишь на осмотр достопримечательностей. И они тратились: на выставки, музеи, библиотеки. И еще на экскурсии в Гринвич, Виндзор, Оксфорд.

В Гринвиче, кроме знаменитой обсерватории, посетил Нахимов Дом флотских ветеранов. Кто знает, не припомнил ли он тамошнее богатое собрание книг, марин и планов сражений, когда много лет спустя севастопольцы обзаводились Морской библиотекой? И там же, в Доме

ветеранов, ничуть не похожем на унылую Божедомку, наши офицеры разговорились с седыми «волками», служившими под флагом Нельсона.

А перед тем как покинуть Лондон, русские нанесли визит господину Эрроусмиту. Имя этого старого человека, владельца картографического заведения, было известно мореплавателям всех стран. К русским он был особенно внимателен с тех пор, как те начали «кругосветки» и обогащали науку открытиями в южных широтах Тихого океана. Русские капитаны охотно информировали Эрроусмита. А старик тотчас вносил добавления, исправления и уточнения в свои картографические издания. Правда, моряки «Крейсера» еще только пустились в плавание, ничего новенького не сообщили географу, зато «сделали большой запас морских карт и для себя и для экспедиции».

В конце ноября 1822 года Лазарев рапортовал Адмиралтейств-коллегии, что «жестокие западные ветры, дувшие здесь, можно сказать, беспрерывно», не позволяли ему вступить под паруса до 28-го числа, но что вот уж теперь-то он оставляет Европу и при этом все офицеры и матросы «пользуются совершенным здоровьем».

«Крейсер» выбежал в океан.

Казалось бы, один вид вдруг распахнувшегося огромного водного пространства — горбатого, хребтистого, ходящего в крупную раскачку, безбрежного, — один вид Атлантики должен был воспламенить самых сдержанных, даже угрюмых (что тогда почиталось у флотских высшим шиком) моряков, должен был разгорячить их кровь и вместе чернила в тяжелых, бронзовых, узкогорлых чернильницах. Кровь-то наверняка разгорячилась, а вот чернила...

В отчетах капитанов-«кругосветников» (по крайности, в тех, что мне довелось листать) нет никаких восторгов по случаю встречи с океаном. А ведь моряки, как и многие люди, живущие, что называется, на природе, отнюдь не лишены чувств возвышенных, а подчас и благоговейных.

Причина, думается, в том, что командиры кораблей писали путевые отчеты, а не путевые очерки. Отчеты адресовались Адмиралтейству, министерству, товарищам-практикам. И очевидно, даже мало-мальская восторженность могла вызвать ироническую ухмылку, убийственную для авторов.

Завалишин писал полвека спустя. Писал для ежемесячного исторического иллюстрированного сборника. А это уж иная статья. Однако и Дмитрий Иринархович почему-то не осветил душевного состояния ни собственного, ни своего «однокаютника» Нахимова, ни кого-либо другого. Правда, Завалишин отметил некую особенность морского странствия —

контрастность.

«Впечатление, испытываемое в морском путешествии, — рассказывает он, — представляет значительную разницу с теми, которые испытываются на сухом пути. Тут, как бы ни быстра была езда, даже и по железным дорогам, которых тогда к тому же и не было, как бы ни быстро изменялись виды растительности и вообще местностей — все же замечается некоторая постепенность. Совсем иное бывает на море, особенно при направлении пути по меридиану, к югу ли, к северу ли. Вот мы, например, оставили Англию среди полной зимы и, не видев ни клочка земли, который мог бы служить признаком изменения температуры, вдруг увидели на Тенерифе роскошнейшую растительность, напоминавшую переход от лета к осени в средней России... Ощущения контраста еще более усилилось, когда мы, не успев еще бросить якорь, были со всех сторон окружены лодками, нагруженными всевозможными овощами и плодами, не исключая и тропических. Впоследствии мы были в Бразилии, еще более богатой тропическими видами и произведениями, но они не производили того впечатления, контраст не был так поразителен и не представлял уже новизны».

Канарские острова, порт Санта-Крус изю всего «населения» фрегата уже повидали четверо: сам Лазарев, лейтенанты Иван Куприянов и Михаил Анненков, канонир Воробьев — участники богатырской экспедиции к Южному полюсу.

Хочется задержать внимание читателя на матросе (или унтер-офицере?) Воробьеве. Он, по свидетельству Завалишина, «совершал уже *третье* кругосветное плавание». В этом смысле Воробьев сравнялся с самим Лазаревым. Спасибо Завалишину: не часто называют имена вот таких Воробьевых, истинных морских гвардейцев, на которых и зиждилась походная воинская слава наших кораблей. А был он не только великолепным моряком, но еще и одним из тех людей, которых так любят «дальновояжные» команды: «неутомимый рассказчик, отличавшийся неистощимой изобретательностью».

Несколько дней отстаивался фрегат у острова Тенериф. Нахимов не преминул осмотреть испанский городок, побывал в ботаническом саду, совершил восхождение на знаменитый Тенерифский пик.

С моря, на подходах к острову, пик этот открывался чуть не за сотню миль. Как было упустить возможность взглянуть с него на море? Восхождение начали вечером. Утреннюю зóрю встретили на большой высоте, хотя и не на вершине горы. Вставало солнце, огромное и чистое. Воздух, свет, простор распирали грудь. В свежем и тихом блеске увидел

Нахимов живописную купу Канарских островов. И чудилось — всю Атлантику. В такие минуты нельзя не ощутить пронзительного счастья: великий боже, как хорошо жить!..

Если первая встреча с океаном не вызывала ни романтических вздохов, ни философических рассуждений командиров кругосветных кораблей, то особая тональность звучала в их обстоятельно-строгих, суховатых записках, коль скоро корабельные паруса полнил пассат южных широт Атлантики. Тут уж шероховатые страницы словно бы освещены солнцем, жар которого умерен ветровой прохладой, осиян созвездием Южного Креста. Тут уж из-под скрипучего пера капитанов являются такие полуденные, такие умиротворенные слова о приятном, покойном переходе через экватор и веселом празднике Нептуна, о купаниях за бортом и песельниках, собирающихся вечером на баке, о вахтенных сменах, не знающих тяжкого труда, и вахтенном офицере, который, расхаживая по шканцам, тихонько насвистывает, а то и читает при яркой луне.

Пять недель шел фрегат от Тенерифа до Бразилии. Не трепали его бури, не одуряли штили. Служба служилась лучше не надо, хотя Лазарев не забывал ни о парусных, ни об артиллерийских учениях. И матросы мечтательно вздыхали: «Вот эдак бы и век плавать! Не в пример лучше берега. А то что за жизнь в казармах?»

Бразилии, кажется, ни один российский «кругосветник» не миновал. Правда, предшественники Лазарева (Крузенштерн и Лисянский, Головнин на «Диане») чинились, сверяли астрономические инструменты, пополняли продовольствие не на матером берегу, а на острове Святой Екатерины. Лазарев, командуя «Суворовым», первым посетил Рио-де-Жанейро — в апреле 1814 года. Он проторил дорогу. За ним — в восемьсот семнадцатом — последовал Головнин на «Камчатке». А уж в восемьсот девятнадцатом набежало пятеро дальних ходоков: «Восток» и «Мирный» (Лазарев, значит, вторично), «Благонамеренный», «Открытие», «Бородино». А за несколько месяцев до отправления «Крейсера» из Кронштадта на рейде Рио отдал якорь корабль «Аполлон»; «Аполлон» следовал в Русскую Америку; в Бразилии борт его оставил скромный штурманский помощник 14-го класса; человека этого давно пора извлечь из забвения, но речь о нем впереди. А покамест надо задрать голову и приложить ладонь к уху — не упустить бы минуту, когда с салингов гаркнут: «Вижу берег!»

И вот оттуда, как с поднебесья, заблаговестили хрипылыми басами. Но Лазарев хотел увериться: а не приняты ль за землю, как нередко бывало, кучевые облака? И он крикнул в рупор: «Какой вид у берега?» Ему ответили: «Вроде бы сахарная голова!» Ну, прочь сомнения: в счислении

ошибки нет, курс проложен точно, пришли, слава те, в Рио.

Вот тут-то, плавно втягиваясь на рейд, тут-то на глазах у сотен людей, облепивших берег, у десятков моряков, облепивших ванты и реи купеческих и военных судов, тут-то команда «Крейсера», вышколенная Лазаревым и его офицерами, разыграла действо высшего мореходного мастерства — уборки парусов и постановки на якорь.

«Утром 23 января^[1], — пишет Завалишин, — последовал наш действительно торжественный вход на рейд. Все было устроено так, что не было видно на фрегате ни души живой, на мачтах не было ни одного человека, а высокие борта фрегата не позволяли видеть ни одного человека и на палубе. Уборка парусов могла быть сделана помощью веревок и блоков снизу; голос командующего заменен был свистками, только слышен был марш, играемый музыкой. Все это, как рассказывали нам после, производило сильное впечатление на зрителей. Двигалось, по-видимому, живое, самоуправляющееся существо».

Между тем командир коронного фрегата испытывал затруднение не профессиональное, а особого, политического свойства. Доселе Бразилия принадлежала Португалии. Теперь над крепостной стеной развевался какой-то «странный флаг — зеленый, а что в середине — рассмотреть нельзя». Потом рассмотрели: желтый ромб, голубой земной шарик... Гм, что за притча? Очевидно, рассуждали на «Крейсере», в сей стране какие-то важные перемены. В таком разе, не имея инструкций, как «мы должны отнестись к ним?». И в свою очередь, как они могут отнестись к нам?

Все сладилось. Император Петр Первый не имел никаких претензий к императору Александру Первому. Петром Первым (может, не без тайной иронии) моряки называли дона Педро, недавно объявившего себя императором Бразилии. Начался обмен любезностями, неизбежный в иностранных портах, но подчас потяготливо-скупчивый.

Осведомляя петербургское начальство о плавании Атлантикой, Лазарев не упустил информировать адмиралов о политических переменах за океаном и состоянии бразильского флота.

Вообще русские офицеры, командиры кораблей, находящихся в отдельном плавании, рапортовали в Адмиралтейство не только «по своей линии», не только по морской части. Удаленность краев, ими посещаемых, отсутствие быстрых способов связи, наконец, сознание государственной значимости командира, несущего флаг родины, заставляло моряков глядеть на вещи широко и зорко.

Документы, некогда писанные в корабельных каютах, отчеты наших «кругосветников» до сих пор сохранили ценность исторических

источников. Ими пользуются исследователи русско-американских связей, антиколониальной борьбы в Южной Америке и т. п.

В Рио, возле островка с несимпатичным названием Крысий, экипаж фрегата взялся за работы нелегкие, но необходимые. Сколь бы крепким «здоровьем» ни обладал деревянный парусный пахарь морей, длительный океанский переход, даже при улыбочивой погоде, не обходится дешево. Надо и конопатить, и красить, надо и рангоут менять кое-где, и паруса латать, наново ставить некоторые гаки и блоки, а то, глядишь, и вовсе серьезная замена потребна.

На всяком парусном русском корабле каждый матрос был не только марсофлотом, но и мастеровым — плотником, маляром, смолокур, кузнецом, бондарем, и вот, остановившись в роскошном Рио-де-Жанейро, «нижние чины» брались за инструмент, превращая корабль в плавучую мастерскую и быстро устанавливая на нем совсем иной, не походный, а как бы фабричный распорядок и порядок.

За дело принимались спозаранку, как косари. К полудню затихали: январский солнцепек, по-здешнему летний, смаривал и двужильных. Шум работ стихал. Народ примащивался кто где, кто как, лишь бы тень, и пускал во все носовые завертки. Едва зной спадал, работы возобновлялись.

Делу, говорят, время, а потехе час: Лазарев разрешал увольнения на берег. Офицерам, понятно, длительные; матросам, понятно, краткие.

Завалишин описал и прием в императорском дворце, и плантации в предместьях города, и роскошь тропических чащоб, и острый азарт охоты на ягуара... Читая все это, я нетерпеливо отыскивал фамилию Рубцова. Как так, думал, ужели Завалишин со своим неизменным спутником в береговых прогулках Нахимовым, ужель они не повстречали Нестора Гавриловича? Наконец, вижу: «В назначенный час консул прислал для сопровождения нас находившегося у него для наблюдений штурмана».

И только-то? Одна корявая фраза? Увы, и только. А вослед Завалишину ни биографы Лазарева, ни биографы Нахимова не потщились «расшифровать», что за штурман оказался в Бразилии, что за флотский повоз офицеров «Крейсера» на загородную виллу русского консула Г. И. Лангсдорфа?

А был это тот самый человек, который сошел на бразильский берег с борта корабля «Аполлон». И можно побиться об заклад, что офицеры, Нахимов в их числе, по дороге на консульскую виллу слушали Нестора Гавриловича притаив дыхание.

Тощее, в четырнадцать листов, архивное дело обозначает его жизненные вехи. Уроженец Петербурга, Рубцов начал службу мальчишкой,

одновременно с Нахимовым. Но учился-то не в корпусе, а в штурманском училище, и, стало быть, по тогдашним понятиям, был он в сравнении с корпусными питомцами черной костью. В январе восемнадцатого Нахимова произвели в унтер-офицеры, а Рубцова в мае в штурманские помощники унтер-офицерского чина. И оба они поначалу обретались в Маркизовой луже, поближе к Кронштадту и Петербургу. Ничего удивительного не было бы, когда б оказались они хотя бы в шапочном знакомстве.

Нестор Рубцов, может, еще годы и годы маялся бы брандвахтенной тоской или якорной стоянкой у питерского Каменного острова, если бы... Если бы совсем ему неведомый консул в понаслышке ведомой Рубцову Бразилии не замыслил научную экспедицию. А для того потребовался Григорию Ивановичу Лангсдорфу, бывшему натуралисту первого русского плавания вокруг света, опытный картограф, аккуратный геодезист, неустойчивый работник. Головин, тогда уже прославленный мореход и писатель, рекомендовал Рубцова. А уж ежели Василий Михайлович протезировал, промашки быть не могло.

И вот Рубцов, чин малый, да ум, видать, немалый, является на шлюп «Аполлон». Является, как сказано в архивном формуляре, «для отвоза в Рио-Жанейро, к статскому советнику Лангсдорфу, для сопровождения ему по Южной Америке». И «отвезли» Нестора Гавриловича на другой край света.

В те дни, когда Нахимов видел Рубцова, последний только-только завершил тяжелую трехмесячную экспедицию в джунгли, где ни один русский до него не бывал, а из европейцев если кто и бывал, так разве португальская сволочь — охотники за индейцами. Вернувшись из чащоб, Нестор Гаврилович засел за камеральную обработку полевых материалов. То было началом. В последующие годы он много, претерпевая тяготы и лишения, странствовал во глубине огромной южноамериканской страны. И если Г. И. Лангсдорфа по праву считают выдающимся исследователем Бразилии, то штурману русского флота Рубцову следовало бы разделить славу с ученым и дипломатом^[2]...

Рассказывая об удивительном чувстве контрастности, рождаемом морскими путешествиями, Завалишин как бы мимоходом обронил, что в Бразилии внимание матросов было пристально обращено не на красоты природы, а на положение негров. К сожалению, рассказывая о Рио-де-Жанейро, мемуарист ничего не сообщил, как же «нижние чины», вчерашние крепостные мужики, отнеслись к положению черных невольников. Чертовски жаль! Свидетельств — негодующих, разящих

рабство — сохранилось не так уж и мало. Да только все они офицерские.

Что ж до самого Дмитрия Иринарховича, то он оставил зарисовку в общем-то схожую с теми, которые делали и другие русские «кругосветники», наделенные хоть некоторой долей свободомыслия.

Главная язва Бразилии, писал Завалишин, «невольничество напоминало о себе постоянно не одним отвлеченным знанием существования его, а наглядным образом, в самом отвратительном виде. Не говорим уже о невольничьем рынке, посещение которого произвело на нас самое тяжелое впечатление при виде осмотра людей как скотов и клеймения их раскаленным железом, „тавром“ покупателя. Это впечатление так живо выразилось на наших лицах, что возбудило злобные взгляды и продавцов и покупателей на нас, непрошенных свидетелей. На самой дворцовой площади, которую нам необходимо было переходить, сойдя с пристани, куда бы мы ни шли, мы ежеминутно видели обнаженных до пояса, клейменных негров и негритянок, приходивших за водой из находящегося на площади фонтана. Еще тяжело было видеть целые ряды скованных арестантов, приходивших за тем же; у многих заметили мы еще ту особенность, что на них были жестяные маски...».

Ремонты взяли на «Крейсере» ровно месяц. Тем временем корабль принял «свежие жизненные потребности». И тогда же в Рио-де-Жанейро, Лазарев решил не огибать мыс Горн, а следовать в Тихий океан через Индийский, мимо берегов Австралии. Этот вариант избрал командир, потому что у мыса Горн уже бушевали февральские штормы.

О переходе из Рио-де-Жанейро к острову Тасмания сохранился рапорт командира фрегата. Лапидарность документа изумляет. Краткость — сестра таланта? В таком случае у Лазарева была редкостная «сестрица». Изъясняйся кратко, ибо жизнь коротка? В таком случае Лазарев полагал, что жизнь коротка как рында-булинь, тросик судового колокола. Донесение Михаила Петровича в Адмиралтейств-коллегию — на двух листах. А плавание Индийским океаном длилось чуть ли не три месяца. И какое плавание!

Голубизна и лазурь чистых вод Индийского океана, противореча психологическим ассоциациям, способна на черную ярость. В Индийском океане Нахимов, как никогда прежде, полной мерой, полной «выкладкой» познал грубую, холодную заскорузлую работу моряка, круто присоленную, рвущую жилы. Ничего не было, кроме штормовых вахт, неразогретой пищи, непросыхающей одежды. В каюту просачивалась едкая, предательская вода. Лишь одно сухонькое местечко осталось — кожаный диван в кают-компании; на нем мог прикорнуть тот, кто вступал на ночное дежурство.

Были буря, дождь, град, снег. Бесконечная череда дней и ночей. Слитных, почти неразличимых, навалившихся оглушительной, лохматой глыбой. И в этой череде выдался час особенно страшный, грянул, как последняя труба. Кто-то крикнул отчаянно: рушится топ. Рушилась верхушка грот-мачты. Надо было укрепить ее чего бы то ни стоило. Крепить тотчас, сию ж секунду. Без рупора, без командира, не дожидаясь приказа — все офицеры бросились к ревущему небу, во мглу и вихрь, на помощь матросам. И Нахимов тоже. То был ослепительный миг. Не карабкались — взлетали, срывая кожу ладоней, не чувствуя, как из-под ногтей брызжет кровь...

А в последние семнадцать суток, что оставались до берега, и вовсе не было ни проблеска, ни минутной затишки. И не было подвахтенных, отдыхающих: всю команду то и дело требовали наверх, на палубу — в этот клекот, гром, пену, шипенье, в эту дикую одурь Индийского океана.

И наконец, завершающее испытание: приход в порт.

Радости встречи с землею, с твердью, радости, ведомой лишь мореплавателям (а в наши времена — и воздухоплавателям), всегда предшествует острое напряжение: ошибочность навигационных расчетов может оказаться роковой.

Бурливая погодливость, скрытность солнца и созвездий не позволили офицерам и штурманам «Крейсера» проверять счисление пути астрономическими способами. И теперь, ожидая берега, все старались скрывать тревогу. При таком ветре даже отчаянный спорщик поостерегся бы поставить хоть голландский червонец на то, что счастливо проскочит пролив, ведущий в порт Деруэнт. Э, что там пролив! Тут, глядишь, вполне возможен самоубийственный бросок головой вперед на скалы острова Тасмания^[3].

В семнадцатый день мая 1823 года фрегат приблизился к Тасмании. Наступил критический момент. В рапорте Лазарева упомянуто о нем с железным спокойствием: ветер, мол, все свежел, ртуть в барометре все падала, и это заставило поскорее укрыться в порту.

А вот что рассказывает Завалишин: «Лазарев решился... Мы стремительно полетели к берегу, а может быть, пожалуй, и на самый берег! Ужасные минуты тревоги и ожидания! Вдруг с форсалинга матрос закричал: „Вижу немного влево что-то похожее на небольшой островок, как бы высокую скалу!“ В одно мгновение все зрительные трубы обратились по указанному направлению, и все увидели в неясных очертаниях, сквозь туман действительно небольшой, но высокий островок. „Это Мюстон, — вскрикнул Лазарев. — Ну, слава богу! Теперь мы пойдем наверняка.

Михайло Дмитрич (Анненков), Иван Антоныч (Куприянов), посмотрите хорошенько: помнится, мы видели этот островок, идучи здесь же на шлюпе „Мирный“.

Сейчас исправили несколько курс, и 17 мая в 4 часа по полудни мы бросили якорь в канале или проливе Д'Антрекасто... Действительно, усмотрение Мюстона случилось весьма кстати, потому что хотя счисление оказалось более верным, нежели можно было ожидать, что и доказали знание и внимательность офицеров, но при узкости входа в канал малейшая ошибка была губельна, чему мы и увидели вскоре доказательство. Когда мы подошли к самому уже входу, нагнавший нас порыв шторма вдруг разорвал висевшую над берегом пелену тумана и облаков и открыл нам вход, а на левом берегу его разбитый трехмачтовый ост-индский корабль. У всех, конечно, при виде этого мелькнуло в мысли, что и нам грозила такая же участь“.

Итак, из Бразилии, недавней португальской колонии, корабль перенес Нахимов в колонию английскую. Если в Рио Нахимов видел рынок невольников, то на другой стороне гавани он видел теперь Хобарт, «город-тюрьму», по меткому определению Якова Света, автора монографии об исследованиях Австралии и Океании.

Первыми поселенцами явились на Тасманию отпетые ребята из тюрем доброй старой Англии. Их разместили в нескольких местностях; Хобарт был центром. Отбыв срок, каторжные оставались на острове. А в ту пору, когда туда пришел русский фрегат, на Тасманию устремились и вольные колонисты. В истории острова открывалась страница, залитая кровью: англичане с бульдожьим упорством принялись истреблять коренных тасманийцев. Тех самых, пишет Яков Свет, о которых Кук говорил, как о людях сердечных, веселых и доверчивых.

Сердечными, доверчивыми, сметливыми, работающими были и островитяне другого океана. Этих еще не успели извести физически, но уже изводили нравственно, отнимали радость жизни — миссионеры, служители культа, те, что «во имя отца и сына...».

На Таити, в Тихом океане, Нахимов улыбочиво наблюдал, как стройные, мускулистые «дикари» в охотку и ловко пособляли матросам полнить фрегатский запас пресной воды, везли бочонок за бочонком, как исполняли они такелажные работы, не столь уж и простые, как взбирались на мачты и реи не плоше любого марсофлота.

Третий океан, самый гигантский из всех на нашей планете, где воды больше, чем суши, третий океан — Великий, или Тихий, — довершал географическое образование Нахимова, довершал, так сказать, и высшее

морское. Не книжно, а наглядно, не заочно, но очно. Лучше ведь раз увидеть, нежели десять — прочесть. И он уж мог не по чужим замечаниям, а личным опытом сравнивать тропические широты, атлантические и тихоокеанские. И конечно, нет-нет да и вздыхал мечтательно, вспоминая Атлантику: ровный пассат, умеренная, приятная жара, серебряный, полированный диск луны. А здесь, в Тихом? Теперь уж и бурю помянешь не бранью, потому что, ей-богу, нет ничего несноснее этих проклятуших штилей, этой злой чародейной сонливости, когда будто все на свете замерло, остановилось. И одна лишь крупная, гладкая, плавная зыбь. А фрегат будто околдован штилем. Только вздыхает на зыби, только вздыхает, недвижимый, как привязанный, посреди огромного, блистающего синего круга.

17 августа 1823 года был юбилей — сравнялся год, как фрегат был в походе. Что бы Нахимов узнал, увидел, понял, накопил за год, останься он у Невского бара, плавай он от Толбухина до Красной Горки? Нет, поистине счастливейший он из смертных! А впереди-то еще сколь? Год в походе, а разве что треть пройдена. И теперь вот держит «Крейсер» к предназначенному острову Ситха. Там поселение — Ново-Архангельск. Громко именуют его столицей Русской Америки.

Чуть поболее двух недель минуло, когда в мирном предвечерье открылся скалистый и лесистый остров. Один из многих у островитого северо-западного побережья Северной Америки. Опасаясь рифов, Лазарев лег в дрейф: утро вечера мудренее.

А в Ново-Архангельске никто не ложился. Переполошилось начальство: давно уж ждали подвоха от американцев или англичан, жили с опаской, сторожко, на чеку. А тут вдруг — что такое? Корабль возник, как призрак. Что за корабль? Чей, откуда? Большой корабль, фрегат, должно, и пушек на нем никак не меньше четырех десятков. А на Ситхинском рейде — шлюп «Аполлон». Степан Хрущов командир не робкий, да и то сказать — куда ему против фрегата?! В Ново-Архангельске кое-какое оружие есть. Хорошо, ладно. А только, если по чести, не отбиться, никак не отбиться.

Но еще дотемна Лазарев успокоил столицу Русской Америки: прислал письменное уведомление — кто он, зачем явился. Хоть и год минул, как фрегат выбрал якорь в Кронштадте, а почта из Санкт-Петербурга не достигла Ново-Архангельска, и правитель колоний Муравьев слыхом не слыхивал, что послан ему защитником от чужеземных нахальных посягательств военный фрегат. Да еще под командой самого Михаила Петровича Лазарева.

На радостях долго гомонил Ново-Архангельск, уснул едва ль не к

рассвету. А ровно в восемь салютный выстрел «Крейсера» взметнул над Ново-Архангельском испуганную черную тучу воронья. И вся береговая «публика» — чиновники Российско-Американской компании, мастеровые с верфи, добытчики пушнины и рыбаки, индейцы племени колошей, женщины, дети — устремилась к берегу... Событие! Корабль пришел не то чтобы из Охотска или Петропавловска, нет — «из самой России»!

Коль скоро фрегату надлежало охранять и Ситху, и окрестные воды, и, может, воды дальние от чужеземных посягательств, лазаревской команде следовало озаботиться многим.

Ситха была весьма выгодным местом для рыболовства и добычи высокоценной выдры, но совсем не годилась для сельского хозяйства. Дождливый климат, вечная влажность, хлипкая или каменистая почва, слабый лес, валившийся под ветром, даже ягоды не ягоды, а словно бы водяные пузырьки, обтянутые кисленькой кожицей. Разве что малина удавалась тут славная. Городились кое-где огородишки. Рыбы, правда, хватало. Да ведь как без хлеба? А хлеб не родила Ситха, жили здесь импортным зерном, калифорнийским.

Не кейф, не отдых ждал на Ситхе команду фрегата, и без того истомленную годовым плаванием, особенно последним этапом, а ждала ее, как говорит Завалишин, «бездна работы». И матросы принялись за дело с тем двухжильным молчаливым упорством, с той покорностью обстоятельствам и здравым смыслом, какие были присущи этим кронштадтским «казенным» людям.

Стали они опоражнивать поместительные, битком набитые трюмы — работали как грузчики. Расчищая места для будущих огородов, рвали динамитом скалы, как саперы. Удобряя скудную землю, таскали рыбью труху и сельдьную икру — «устраивали» землю, будто вернулись в свои давно отошедшие, крестьянские годы.

Но все это было впрок. А чем кормить почти двести ртов в зимнюю пору? Тем паче, что в Калифорнии выдался худой урожай. Да и в зимние-то месяцы велик ли прок от «Крейсера» — чего тут охранять, ни один контрабандист до лета не сунется.

Правитель Русской Америки, сам моряк, и моряк бывалый, Матвей Муравьев полагал так: лучше всего его высокоблагородию Михаиле Петровичу Лазареву отправиться в «благоприятный» климат Калифорнии. Командир фрегата нашел это резонным, и корабль вскоре снялся с якоря.

Так Нахимову и его товарищам удалось увидеть Сан-Франциско, хотя тогдашний Фриско был не чем иным, как испанским захолустьем с квелой

крепостицей и монашескими плантациями, на которых во славу господ бога лили пот порабощенные индейцы.

Два с половиной месяца моряки занимались совсем несвойственным им делом — коммерцией: «...по причине неурожая в тот год во всей Калифорнии, — докладывал Лазарев морскому начальству, — принуждены были скупать пшеницу по мелочам у обывателей и солдат».

С грехом пополам раздобывшись необходимым пропитанием, пустились восвояси, в Ситху. Шли несколько недель, тяжело шли, сквозь бури. Добрались до Ново-Архангельска, как и обещали Муравьеву, в марте 1824 года. Промысел уже начался, компанейские суда разлетелись, а фрегат занял пост на Ситхинском туманном рейде.

Пост был муторным. Сиротская Ситха не тянула Нахимова на дальние прогулки, как, скажем, окрестности Рио или роскошь Гаити. А делать нечего — отстояли на посту до прихода смены.

Сменщиком явился военный шлюп «Предприятие». Его провел через три океана капитан Коцебу. Отто Евстафьевич, как и Лазарев, совершал третью «кругосветку».

Теперь «Крейсер» мог собираться домой, в Кронштадт, Далекий бег — к мысу Горн, потом, заглянув в Рио-де-Жанейро, опять наискось через Атлантику. Далеконько, что и говорить! Однако Нахимов загодя радовался встрече с мысом Горн: какой же ты доподлинный моряк, если не обогнул хоть разок в жизни этот дьявольский, мрачный, тоскливый мыс, скалы которого сокрушили столько кораблей и загубили столько скитальцев?

А напоследок, на ростани, собрались все — и с фрегата и со шлюпа — в доме правителя Русской Америки капитан-лейтенанта Муравьева. Столько сошлось офицеров, большей частью молодых, лейтенантов да мичманов, что, право, как в Кронштадтском морском «клубе».

Собрались, расселись за длинным столом. Народ все знакомый, многие в тесной дружбе, многие однокашники, у каждого кличка, присмолившаяся еще в корпусе. А главное — в каждом уже особая, хоть и потаенная, гордость: гордость «кругосветника», крещенного соленым валом трех океанов.

Чарки они не чураются. Ром или водочка, малага или ренское — без задержки идут, никто не поперхнется. Все громче голоса, все звонче смех. Твердеют скулы, глаза блестят. И вот уж кто-то тронул в перебор гитарные струны. Грянем, что ли, братцы, «В темном лесе»? Или, может, «Лодку», песню о волжских разбойничках?

Гуляют моряки. Кто их попрекнет? Какой ханжа?

А над Ситхой гудел океанский ветер. Не много минуло дней, загудел

он, присвистывая, в вантах фрегата «Крейсер». Тысячи еще миль до Балтики, до Толбухина маяка, до фортов Кронштадта. Ну что ж, труби, тритон! Как это говаривали кадетами: жизнь — копейка, голова — ничего...

С морской точки зрения, с профессиональной, поход «Крейсера» свершился блистательно. А вот с другой точки зрения... Ну хоть, так сказать, дисциплинарной омрачился двумя происшествиями. Экипаж взбунтовался. Впервые в Деруэнте, на Тасмании, в другой раз в Ново-Архангельске, на Ситхе. Причиной тому был Кадьян, старший офицер фрегата — держиморда, скотина, ругатель, кровопийца. Матросы его ненавидели, офицеры чуждались. В Ситхе матросы потребовали, чтоб Кадьяна убрали.

Обе мятежные вспышки удалось погасить. Одну — уговорами, а другую — уступкой: Кадьяна убрали. Самолюбие терзало Лазарева. Как бы там ни было, а старший офицер подчинялся ему, командиру. Как бы там ни было, старший офицер был исполнителем его воли. Пусть исполнителем-садистом, но все же... И самолюбие Лазарева было уязвлено.

Завалишин спрашивает: «Но что же ему оставалось делать?» Он сделал вот что: убрав Кадьяна, утаил от министерства чрезвычайное происшествие. И вовсе не затем, чтобы избавить матросов от возмездия. Нет, чтоб самого себя избавить от начальственных нареканий^[4].

Но как же отнестся к корабельным «неприятностям» лейтенант Нахимов? В частном письме из Сан-Франциско он донельзя лапидарен: «У нас большие перемены: Иван Иванович идет на „Ладоге“^[5].» И — молчок.

В том же письме Нахимов не упоминает еще и о том, о чем редкий не упомянул бы. Да еще в письме к приятелю-моряку. Да еще уж после того, как Лазарев официально рапортовал министру, что Нахимов добровольно жертвовал собою при спасении канонира Давыда Егорова. Нет, опять молчок! И это уж умолчание иного рода: скромность, присущая Нахимову всю жизнь.

А вообще письмо, адресованное Михаилу Рейнеке, поражает отсутствием эмоций. Полсвета Нахимов обошел, гостил в Лондоне и на Тенерифе, ездил в окрестности Рио, видел невольничий рынок и арестантов в жестяных масках — словом, нагладелся, а в письме: «Сделаю тебе маленькую выписку, когда и куда мы заходили...» И точно, лишь выписка! Как экстракт из бесстрастного шканечного журнала.

И все ж письмо от 2 января 1824 года, письмо молодого лейтенанта, бросает внезапный и, если позволите, объяснительный свет на всю — нам

досадную — скудность эпистолярного наследства Нахимова. Он говорит: «Кто сильно чувствует, тот не теряет слов». Не чурался ль Нахимов «слов»? К тому ж кажется весьма уместным отметить и некий психологический штрих, свойственный многим палубным людям, многим из тех, кто зачастую погружен в созерцание океана, звездного неба, бесконечности пространства и вечного движения, — психологический штрих, наблюденный сослуживцем и почти ровесником Павла Степановича, будущим декабристом Михаилом Бестужевым: «Моряки вообще более других замыкаются в самих себя...»

Океаны, как и следовало ожидать, дали матросам и офицерам фрегата выучку громадную и разнообразную. И конечно, им выпало высокое счастье увидеть мир. Счастье, не каждому доступное поныне, но каждому поныне желанное.

«Кругосветка» сделала Нахимова кавалером: лейтенант заслужил первый орден — орден Владимира 4-й степени, девиз которого: «Польза, честь и слава». Орден, понятно, украшает военного, как шрам. Но сверх того вышло еще и прибавочное жалованье.

А самое основное резюмирует все тот же Завалишин: «Герой Синопа и Севастополя, Павел Степанович Нахимов, настоящее свое морское образование» получил именно на фрегате „Крейсер“».

Не знаю, ударил ли мороз с солнцем пополам или выдались слепенькие снежистые деньки. Но при любой погоде возок летел по тракту не так шибко, как хотелось бы свежему кавалеру ордена Владимира. Лейтенант нетерпеливо предвкушал отдых в отчем доме. И еще, думаю, бродила в нем гордость, какую не избыть скромнейшему из скромных после долгого, штормового и шквалистого хождения за три океана.

Завершив «кругосветку», Нахимов получил четырехмесячный отпуск. Или, как тогда говаривали, абшид. Дата увольнения — клад для романиста. Романист был бы вправе изобразить Нахимова на улицах Санкт-Петербурга в знаменательный день, известный ныне любому школьнику.

Дело вот в чем. Павел Степанович числился в отпуске с 13 декабря 1825 года. Естественно, он не мешкал в Кронштадте, поспешая домой к рождеству. А география путей сообщений не позволила бы ему оставить в стороне столицу. И стало быть, лейтенант вполне мог быть очевидцем «происшествия 14 декабря».

Но и беллетрист, верный правде исторической и правде психологической, поостерегся б «послать» своего героя в ряды восставших. Это, однако, не означает, что впоследствии Нахимов не испытал в глубине души чувства сострадания к бывшим товарищам. Такое же, какое испытал Лазарев к Завалишину: жаль, мол, Дмитрия Иринарховича, пылкая головушка...

Впрочем, долой догадки. Суров обет биографа-документалиста. И потому, минуя столицу, надо трястись вслед за отпусником в Смоленскую губернию, в деревню Городок.

Век с четвертью спустя поехал на Смоленщину историк В. Д. Поликарпов. О своих блужданиях по старым справочникам и картам, о том, как он добрался до Городка и как, наконец, в точности определил положение нахимовского гнезда, рассказал историк увлекательно, подробно. Оказывается, многое было перевернуто; даже местом рождения Павла Степановича называли не Городок, а недалекий от него Волочек. Архивные разыскания и опросы старожилов позволили исправить путаницу. А это ведь не столь уж маловажно, когда речь идет о национальном герое.

Видел историк и большак на Вязьму, по которому катил Нахимов, и «красные ворота», единственное, что уцелело от усадьбы, «красные ворота», где отец с матерью встречали сына. И еще видел окрестные леса. Смешанные смоленские, вяземские леса. Вот такие шумели над мальчиком, чья жизнь протекла вдали от них. Но, быть может, иной раз сквозь немолчный гул моря слышался ему лесной шелест?..

Деревенское уединение Нахимова ничем не нарушалось. Он был во глубине России, когда другие уже были обречены глубине сибирских руд.

14 декабря 1825 года в Петербурге произошло восстание декабристов. Курилась поземка. У смутной громады недостроенного Исаакия остался «сфинкс» — народ. Над Медным всадником просвистала картечь. Дантовские своды Петропавловки застонали от клацанья засовов. Сенатская площадь лежала пустынной, ледяной. На Неве чернели проруби; в проруби спустили трупы. Зимний дворец блестел огнями. В Зимнем торжествовал Николай, брат «почившего в бозе» императора Александра.

Не счесть отзвуков декабрьского восстания. В тех отзвуках не счесть тонов, полутонов. Явственно различимы голоса дворян и разночинцев, военных и штатских... Но тщетно напрягать слух: Нахимова не слышно.

На исходе января 1826 года отпускной лейтенант получает письмо «любезного друга Миши». Рейнеке сообщает, что Нахимова прочат в гвардейский флотский экипаж.

Гвардейцы квартировали в столице. Служить там было лестно. Нахимов, однако, досадливо морщится: «Ты знал всегда мои мысли и поэтому можешь судить, как это для меня неприятно». И ниже — решительное: «На этой же почте лишу к брату Платону Степановичу^[6] и прошу его употребить все средства перевести меня в Архангельск или куда-нибудь, только не в гвардейский экипаж».

Что ж это за мысли, которые ведомы «любезному другу Мише»? Несомненно, о неприязни к «гвардейщине». Офицерство зарилось на придворную патоку. Нахимову она претила.

После «происшествия 14 декабря» Нахимов мог сторониться гвардейского экипажа еще по одной причине. Экипаж со своими офицерами, со знаменем и оружием под барабанный бой явился на Сенатскую площадь. Над моряками-декабристами готовился суд. Стало быть, Нахимова проектировали на место павших товарищей. И не ощутил ли он неловкость, неприличие подобного «замещения»? Впрочем, это всего лишь предположение, не больше.

Казарм на Екатерингофском проспекте Павел Степанович избежал. Очевидно, стараний старшего брата вкупе с ходатайством Лазарева достало на то, чтобы в Адмиралтействе, пожав плечами, согласились послать лейтенанта на Белое море.

Еще до «кругосветки» Нахимову случалось бывать в Архангельске. Ехал он вскоре после путешествия на Север царя Александра. Тракт тогда хорошо обновили. А теперь вот время и гоньба опять его искалечили. Нахимов чертыхался. Ан наконец и деревня Варавинская. Здравствуй, матушка! Отсель уж до города несколько верст. Правда, и они оказались не шоссе... В архиве как-то видел я ведомость тогдашнего архангельского губернского землемера. Про те версты в ведомости сказано: «По тундристому и болотному грунту настлана фашина и засыпана мусором и песком».

Нахимов подъезжал к Архангельску.

По мне, Архангельск — славный город. Без сутолоки, без шибяющих в нос пряных запахов и томительной пестроты южных портов, он словно мерцает спокойной мудростью мореходства. На Двине, огромной, работающей, проникаешься старинной радостью, с какой люди располагались у рек. И потом — эта близость великих лесов, как близость великой тайны, не пугающей, нет, приманчивой, зовущей.

Во времена Нахимова корабельщина теснилась в архангельском пригороде, на островной Соломбале; там и поныне, напрочь позабыв все иные монаршие визиты, любят при случае вспомнить Петра Первого.

Соломбалу лейтенант видел уже застроенной вплоть до топкого бережка речки Маймаксы. Презрев геометрию, разметались «обывательские кварталы» с их нумерованными, как в Питере на Васильевском острове, улицами, а где и с поименованными нехитро, как в любом провинциальном пункте, — Хапова или Захаваева, Задний порядок или Маслухина... Строения были почти все деревянные, избытые, по-северному кряжистые, добротные, а кирпичных было наперечет, все — для государственной надобности, вроде казначейства с архивом.

Совсем еще недавно возникли большие, просторные казармы. Казармы были куда как хороши: архитектор — ничто не ново под луною! — отверг колонны, эту «излишнюю роскошь, отнимающую притом и много света от покоев».

Соломбальские верфи каждогодно спускали на воду военные суда. Лишь малые из них и в малом числе доставались Беломорью: львиную долю забирала Балтика. В первую четверть XIX века элинги у Двины нарожали почти сотню линейных кораблей, фрегатов, транспортов, бригов... Корабли эти строил русский север: мачтовый лес давали вологжане и архангелогородцы, железо — уральцы; листовую медь, цепи, краски, парусину везли из Питера. Корабли эти строили северные мужики: плотники и мачт-макеры, парусники, кузнецы, конопатчики, маляры.

Вот здесь-то, в Архангельске, строились и будущие герои Наваринского сражения: 74-пушечный «Азов» и 74-пушечный «Иезекииль». Когда их закончат постройкой, пойдут они в Кронштадт. Их поведет Михаил Петрович Лазарев. Он уже в Соломбале. Лейтенант Нахимов имеет честь представиться своему старому командиру-«кругосветнику».

Но пока не Лазарев вершит всем делом. И уж конечно, не Павел Нахимов. Всем делом вершит бывший казанский разночинец и бывший «мачтовый ученик» Василий Артемьевич Ершов. Ему уж пятьдесят, этому умнице, этому самоучке капитану Ершову. Он много потрудился и в столице, и близ столицы. В Архангельске Ершов новосел, приехал в двадцать шестом. И «Азов» с «Иезекиилем» — его архангельский дебют. Наперед скажем: блистательный. Даже сэр Эдуард Кодрингтон и другие британцы ахнут, даже император Николай улыбнется Ершову: «За все тебе спасибо».

Экипаж не сидит сложа руки, дожидаясь у моря корабля. Матросы, офицеры, сам Лазарев с рассвета до заката пропадают на верфях.

Оправдываясь перед «любезным другом Михайлой Францевичем» Рейнеке за свое архангельское молчание, Нахимов впоследствии писал:

«Скажу ль, что с пяти часов утра до девяти вечера бывал на работе, после которой должен был идти отдать отчет обо всем капитану, откуда возвращался не раньше одиннадцати часов, часто кидался в платье на постель и просыпал до следующего утра. Таким образом протекал почти каждый день, не выключая и праздников...»

И, словно устыдившись, открывает еще одну причину, сам же называя ее главной: оказывается, едва выдастся свободная минутка, как она посвящалась... Первый раз — и в последний! — перо Нахимова выводит слово: «любовь». Кто ж *она*? Нахимов притаивает дыхание: «Едва смею выговорить...» И не выговаривает, конфузливо отмахивается: «Но кто из нас не был молод? Кто не делал дурачеств? Дай бог, чтобы дурачество такого рода было со мною последнее».

Хотя автор письма и уверяет, что только нехватка времени помешала ему пойти под венец (будь, дескать, больше времени, «тогда прощай твой бедный Павел»), но сильное, настоящее чувство выкроило бы время вопреки десятерым Лазаревым. Стало быть, не было настоящего чувства, а было, как говорят, увлечение? Но, может, «бедного Павла» постигла неудача? Может, сутуловатого рыжего лейтенанта не сочли выгодной партией? Кто знает, не скрывают ли летние дни и белые ночи Архангельска личную трагедию Нахимова?

Один из лучших биографов флотоводца говорит, что Павел Степанович так был предан делу, что попросту забыл влюбиться и забыл жениться. Гм, «забыл»... Как-то не тянет на согласие с академиком Тарле. Не прошло и нескольких лет, и Нахимов, получив известие о брачных намерениях Рейнеке, вздыхает: да, одиночество страшит. В Севастополе, еще до обороны, нигде он так охотно не коротал холостяцкие вечера, как среди детей своего товарища и сослуживца Корнилова. И еще: тот же Лазарев или тот же Корнилов, ей-ей, не слабее Павла Степановича были привязаны к своей профессии, к флотскому сословию, к судовым заботам, но вот же не бежали от аналоя.

Нет, тут какая-то тайна, какая-то нигде не высказанная драма, а вовсе не забывчивость. Нахимов до гробовой доски остался холостяком. Ему не довелось быть «лоцманом». Тем «лоцманом», о котором герой Писемского, отставной капитан второго ранга, меланхолично молвил: «Супружество есть корабль, который чтоб провести благополучно между всеми подводными камнями, лоцману нужна не только опытность, но и счастье».

Павел Степанович так и не познал обыкновенной домашности. А «корабельная семья», что ни говори, не заменит семейного очага. Многие на сей раз пожалеют Нахимова, немногие порадуются за него...

В Архангельске оставался он недолго. Лазаревский отряд пошел вокруг Скандинавии в Балтику. Нахимов шел на «Азове». В пути отведали норд-вестовых штормов. Но ничего, детища Ершова похвально выдержали экзамен.

Зимовал Нахимов в Кронштадте.

«Хочешь ли знать, как я провожу время?» — спрашивает он у своего неизменного адресата. И рассказывает: «Начну с того, что я живу один на той же самой квартире, где я последний раз расстался с тобой; занимаю те же самые две комнаты, которые убраны просто, но с большим вкусом. Кабинет мой оставлен по-прежнему; тут каждое место, каждая вещь напоминает мне тебя, и потому я не хотел ничего переменить. С семи часов утра до двух после полудня бываю каждый день в должности (я назначен при работах корабля, и, признаюсь, для меня это самое приятное время). В два обедаю, после обеда час положено отдохновению, а остальное время провожу за книгой, никуда не выхожу из дому... Итак, видишь, что я совершенно один, очень скучно провожу время, поторопись утешить своим приездом, вытащить меня из скучного моего уединения, а то я, право, сделаюсь мизантропом».

Мизантропом он не сделался.

Едва Финский залив блеснул веселой, свежей и будто колкой волной, как эскадра зашевелилась, задвигалась, словно медведь после зимней спячки.

Ни в Кронштадте, ни на кораблях никто еще не знал о важных, поворотных решениях, принятых за дверьми дворцов и министерств Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа. Множество обстоятельств, далеких от флота и флотских, переплетаясь и сталкиваясь, уже сложились в нечто такое, что предредило судьбу флота и флотских, совершенно независимо от них самих.

Политические союзы — браки по расчету. Не до амуров, каждый блюдет свою выгоду. Любовь не ставят ни в грош, но ревность иногда испытывают. Политический союз России, Англии, Франции был браком по расчету. Россия, Англия и Франция ревновали друг друга к Средиземному морю, столбовой торговой дороге. На пути у всей троицы стояла Турция. Ей в ту пору принадлежала Греция. Греки восстали против султана. Возникло то, что называли «греческим вопросом». Ответом на него и

явился антитурецкий союз Англии, России, Франции.

Однако многие европейцы, такие, как Байрон или Шелли, как Пушкин или Рылеев, искренне, не ради державных притязаний сочувствовали мужественным грекам в их отчаянной неравной борьбе с султанской Турцией. Радикальные европейцы сострадали потомкам эллинов, храбрым повстанцам, поднявшим голубое знамя против «законного монарха», сидевшего в Константинополе.

Долго сражались греки, проливая кровь, а великие державы долго перекорялись, проливая чернила. С одной стороны, согласно принципам Священного союза — этого заговора монархов против народов — греки были явными бунтовщиками. С другой стороны, согласно беспринципности денежного мешка, очень было бы хорошо оседлать торные торговые трассы.

Кончилось тем, что принципы уступили беспринципности, как невинность уступает искусному соблазнителю. В мае 1827 года возник тройственный антитурецкий союз — союз России, Англии, Франции. Конвенция предусматривала не полную независимость Греции, но автономию под верховенством султана Махмуда Второго и при условии выплаты греками ежегодной дани.

Император Николай с превеликой охотой заклевал бы на смерть легитимного стамбульского ворона. Николай Павлович уже высказал свою знаменитую мысль о Турции, как о «больном человеке», наследством которого надо озаботиться загодя. Но и Британия устами герцога Веллингтона уже успела ответить: «Ваше величество, вопрос о наследстве было бы легко решить, если бы в Турции было два Константинополя».

Отсутствие «двух Константинополей» и вызывало вечные оглядки, вечное недоверие между союзниками, ту неискренность, какая неизбежна в браках по расчету.

Без изысканности, принятой в верхах, с грубоватой прямою, принятой на палубах, один английский моряк толковал адмиралу российской службы: «Не забывайте, что Россия пугало, которое тревожит значительную часть французов и англичан; они боятся как бы ваш добрый император не поглотил всю Турцию с костями и мясом».

И все же союз не остался на бумаге. Для похода против турок снаряжались эскадры в Англии и Франции. Снаряжалась эскадра и в России. Один из будущих героев этого похода совсем недавно вступил в строй — линейный корабль «Азов».

Император Николай явился на эскадру не только со свитой, как обычно многочисленной, но и с послами Англии и Франции. На «Азове» их

встречал командующий эскадрой Дмитрий Николаевич Сенявин. Встречал Лазарев, капитан 1-го ранга командир «Азова». Встречали офицеры, Нахимов, стало быть, тоже.

Разумеется, император обратил на него столько же внимания, сколько и на прочих; внимание, так сказать, общелюбезное, какое государь, натура достаточно актерская, умел показать.

Понятно, ни Николай Павлович, ни Павел Степанович и в мыслях не держали, что за перевалами десятилетий им предстоит трагическое испытание: одному — на бастионах погибающего Севастополя, другому — под развалинами собственного «величия».

Но этот грозный час еще очень далек. Впереди — победы, победы... Небо безоблачно над царственной главой, и сам царь светел. В сущности, все складывается так, как он хотел. Правда, союзники уклоняются от решительного погрома турок. Англичане и французы предпочитают ограничиться морской блокадой, дабы лишить султана возможности бросать войска в восставшую Грецию. Хорошо, пусть блокада... Однако император уже приготовил напутствие морякам. Собственно, не морякам... Имеющие уши да слышат. Господа дипломаты имеют уши. А моряки... О, они, конечно, рвутся в дело. Император доволен духом флотских.

Смотрите, как красиво лежат ружейные замки в корабельном арсенале «Азова». Из ружейных замков возникают слова: «Гангут», «Ревель», «Чесма» — великие морские баталии. А рядом одна буква: «И».

— А что ж дальше? — спрашивает государь, указывая на это «И».

Лазарев глядит орлом. Он отвечает твердо и громко:

— Имя первой победы флота вашего императорского величества.

Черт возьми, экий хват капитан Лазарев. Имя первой победы! Великолепно придумано... Напутственное царское слово произносится отчетливо, молодецки, по-гвардейски. Оно предназначается не столько морякам, сколько послам союзных держав — Англии и Франции:

— Надеюсь, что в случае каких-либо военных действий поступлено будет с неприятелем по-русски.

Поэзия, соединенная с расчетливостью, вдохновение и дерзость вкупе с осмотрительностью; прекрасная законченность каждого в отдельности и общая согласная стройность — вот парусная армада, идущая полным ветром.

Эскадрой командовал Сенявин. После долгих лет опалы, забвения, горестей, нищеты старик вновь командовал эскадрой. Я думаю, он испытывал пронзительное счастье. Такое, что хоть смерть подступи — не

заметишь.

Дмитрию Николаевичу шел седьмой десяток. Натура плечистая, самобытная, он не уместился в понятие немецкой выкройки — слуга престола. Он служил России, а не германским отпрыскам, коронованным в Успенском соборе. Если Ушакова называют морским Суворовым, то Сенявина следовало бы называть морским Кутузовым.

Немного еще земных лет осталось Дмитрию Николаевичу Сенявину. Когда он умрет, ему отдадут высшую воинскую почесть: не знаменем, прикрывшим гроб, и не салютом, а слезою матросов-ветеранов.

Сейчас, командуя эскадрой, он зорко приглядывается к господам штаба и обер-офицерам. Он знает то, чего они в точности не знают. Да, в Портсмуте из состава эскадры отделится внушительный отряд. Этой «дочерней» эскадре идти в Средиземное, в те воды, где он, Сенявин, одержал столько побед.

Впрочем, старик не погружен в воспоминания, а зорко приглядывается к офицерам, от мичманов до капитанов первых рангов. И что же? Доволен ли старый адмирал? Он замечает и понимает желание щегольнуть быстротой и четкостью маневра, мгновенным и понятливым исполнением сигналов флага. Но есть нечто чрезвычайно важное, без чего не видать побед, как звезд в телескоп, закрытый футляром. Господа офицеры ревностны к службе? Да, этого не отнимешь. А только, помилуй бог, не чересчур ли строги? Не преступают ли незримую грань, отделяющую строгость от жестокости?..

У старого адмирала отнюдь не восковое сердце, но оно не зачерствело, как морской сухарь, и не бьется ровно, когда brave офицеры хлещут по скулам нижних чинов. Слух старика не изнежен, но его коробит, когда brave офицеры изрыгают площадную брань, как пьяные кучера. И, уже подходя к Портсмуту, Дмитрий Николаевич готовится благословить флотских совсем не так, как император. Не общей, хоть и звонкой, фразой.

Но вот и обширный, оживленный рейд Портсмута. Вот четко означаются мачты «Виктории» — той самой, нельсоновской, героини Трафальгарской битвы. Вот красивая, словно гончая, яхта генерал-адмирала герцога Кларенского резво и плавно обегает русских гостей. А вечером город блестит и мерцает — зажглись уличные газовые фонари. И кто-то на «Азове», смеясь, рассказывает, как однажды некий принц из немецкого захолустья возомнил, что Портсмут иллюминирован в его честь.

На другое утро офицеры весело съезжают на берег. Морские заботы не мешают мирским наслаждениям. «Пробывши долгое время в море в беспрестанной деятельности, можно ли, ступивши на берег, отказать себе в

чем-нибудь, что доставляет удовольствие», — говорил Павел Степанович. И говорил не вопросительно, а утвердительно.

Встряхнувшись, Нахимов в срок возвращался на борт. Безупречный офицер служил ревностно. У него, он уверен, все в наилучшем порядке, И вдруг, как гром средь ясного цеба, приказ по эскадре: Сенявин велит арестовать на трое суток офицеров Кутыгина, Нахимова, Розенберга. За что ж? А за то, что, «хотя часто и по усердию к службе», чрезмерно строги с матросами.

В монографии о Нахимове, выпущенной Военным издательством Министерства обороны Союза ССР, документ этот приведен полностью. Автор монографии В. Поликарпов прокомментировал сенявинский приказ. Суть комментария в том, что взыскание заставило Нахимова призадуматься... Он, конечно, призадумался: взыскание, естественно, огорчило офицера, сполна отдававшегося службе. Но вот одумался ли? Сдается, *тогда* этого еще не было. Нравственные перемены редко случаются внезапно. Они требуют времени, трудной работы, одоления привитого с отрочества. Вспомните-ка розги Морского корпуса! А ведь там-то лупили не черную кость, нет, дворянских отпрысков.

Добро, скажете вы, но были ж люди, современники Нахимова, иного покроя. Несомненно. Однако даже на лучших из лучших зачастую приметны родимые пятна среды.

И не разделял ли он в ту пору «практическую философию» крестьянина-плотника, выведенного таким знатоком народной жизни, как Писемский: «Наш брат мужик — плут! Как узнает, что в передке плети нет, так мало что не повезет, да тебя еще оседлат...»

Отряжая часть своей эскадры для следования в Средиземное море, Дмитрий Николаевич Сенявин проводил господ капитанов не «кимвалом звенящим», а наставлением, в котором так и сквозит

Ум русский, светлый и спокойный,
Простосердечный и прямой...

Старый моряк, ученик и сподвижник Ушакова, взывает к командирам кораблей: заботьтесь о матросе, общайтесь с матросом, служба не в одной службе, но и в истинно человеческих отношениях, входите во все нужды, в «частную жизнь» матроса, приобретайте его доверие и любовь, знайте «дух русского матроса, которому иногда спасибо дороже всего».

Сенявинское наставление резко выдается из униформы казенной

документации николаевской эпохи. То был, можно сказать, манифест подлинной военной педагогики, несовместимый с аракчеевщиной. Он адресовался не только начальнику средиземноморского отряда графу Гейдену. Нет, офицерскому корпусу русского флота.

Эскадра контр-адмирала Гейдена миновала Гибралтар. Корабли опалило африканское солнце, смола в палубных пазах едва не закипела.

Средиземное море располагает, как говаривали старинные жуиры, «к роскоши и неге чувств». Однако и к коммерции тоже. Богатых гаваней много, они близки, не заблудишься и без компаса. Средиземное — колыбель Одиссеев. Не оставляя его берегов, можно перелистать почти всю летопись судостроения; не оставляя его волн — почти всю хронику мореходства, торгового и военного, включая и лихие походы пиратов. Русский флаг и до гейденовских кораблей не был здесь в диковинку: на Средиземном громыхали пушки Ушакова и Сенявина, свершились эпопеи, еще ждущие своего художника.

Для «Азова» плавание в Средиземном море началось несчастливо — мичман Домашенко погиб, спасая матроса. И Нахимов, промолчавший о том, как он сам пытался в Тихом океане спасти утопающего, — Нахимов теперь подробно описал подвиг товарища, ходившего с ним на «Крейсере».

«Был очень свежий ветер с дождем и жестокими порывами, волнение развело огромное, — рассказывает Павел Степанович все тому же Рейнеке. — В один из таких порывов крепили крюсель. Матрос, бывший на штык-блоке, поскользнулся и упал за борт. Домашенко в это время сидел в кают-компании у окна и читал книгу, вдруг слышит голос за кормой, в ту же секунду кидается из окна сам за борт, хватает стул, прежде брошенный, плывет с ним к матросу и отдает ему оный, сам возле него держится без всего на воде (как жаль, что он не схватился вместо стула за бочонок, который тут же был брошен, тогда, быть может, они оба были бы спасены). Все возможное было употреблено к спасению их; шлюпка хотя с большою опасностью, но весьма скоро была спущена и уже совсем подгребала к ним, как в пяти саженьях он шлюпки пошли оба на дно. О, любезный друг, какой великодушный поступок! Какая готовность жертвовать собой для пользы ближнего! Жаль, очень жаль, ежели этот поступок не будет помещен в историю нашего флота, а бедная мать и родные не будут награждены, которые им только и держались»^[7].

Домашенко погиб неподалеку от Сицилии. На другое утро, отлежавшись в дрейфе, эскадра спустилась к высокому гористому берегу Палермо. И однокашник Нахимова отметил в дневнике: «Новость предметов вообще занимательна, но нигде она так не разительна, как на море. Быстрый переход из одного места в другое без постепенности производит какое-то особенное очарование, объяснить которое очень трудно тем, которые путешествуют на сухом пути».

Город встретил офицеров запахом померанца, музыкой струнного оркестра. Офицеры посещали оперу, отплясывали на балах, пировали в отеле, который держал бывший наполеоновский гусар... Ровесник Нахимова юношески звонко на многих страницах дневника рассказывает о пестрых, шумных, веселых стоянках в Палермо и Мессине. Нахимов удостаивает Палермо лишь несколькими строками, Мессину — всего одной. «Что сказать тебе о Палермо? — пишет он Рейнеке. — Что я довольно весело провел время, осматривал все достойное замечания, но не нашел и половину того, что описывает и чем восхищается Броневский^[8]... В Мессине надо восхищаться природой, больше ничего интересного я не нашел».

В Палермо русские слышали от шкиперов: значительный турецкий флот укрылся в Наваринской бухте.

В Мессине контр-адмирал Гейден получил депешу: как можно скорее соединиться с англичанами и французами.

Рандеву произошло на меридиане острова Закинтос (Ионический архипелаг). Выходило солнце, дул ровный ветер. Английский флагман держал свой флаг на 88-пушечной «Азии».

Наши, должно быть, и впрямь были хороши, если старый моряк, представитель «гордого Альбиона», при виде балтийцев испытал не только профессиональное, но и эстетическое удовольствие. В частном письме вице-адмирал Эдуард Кодрингтон писал: «Все русские суда кажутся совершенно новы; и так как медная обшивка их с иголки, то имеет прелестный темно-розовый цвет, что много содействует красивой внешности кораблей».

Вскоре был встречен и французский флот. Отныне три эскадры олицетворяли на Средиземном море боевую мощь трех главных европейских держав, трех европейских монархов. Однако три адмирала не в равной степени горели нетерпением пустить в ход пушки.

Война продолжает политику средствами военными, техническими. И все же распорядитель этими средствами должен обладать и дипломатическим тактом, когда он имеет дело с союзниками — ведь те

всегда держат камень за пазухой.

Анри де Риньи не склоняется к генеральному разгрому султанской Турции, ибо к тому не склонялись в Париже. Самый молодой из трех адмиралов, француз не был самым пылким из них.

Вице-адмирал Кодрингтон (старший возрастом и чином, он принял общее командование эскадрами) отличался личной храбростью. Прекрасно разбираясь в трелях боцманских дудок, он зачастую оказывался туговат на ухо, когда речь заходила о политических тонкостях. Сэр Эдуард любил читать лоцию и кряхтел, когда читал дипломатические депеши. Он предпочитал маневрировать на синей волне, а ему приходилось маневрировать еще и у стола с зеленым сукном.

И точно, вице-адмирал находился в положении незавидном. Его добрая старая Англия вовсе не желала повергнуть во прах Турцию. Ибо ослабление Османской Порты автоматически усиливало Северного Медведя. Однако по букве договора Кодрингтону, как и де Риньи, предписывалось блокировать греческие берега, пресекая подвоз турецких войск. Но в подобных предписаниях звучал рефрен: блокировать — да, применять силу — нет. Вот тут-то и вертись, сэр Эдуард, разрази гром этих канцелярских крючкотворов.

Человек военный, Кодрингтон жаждал определенности. Приказ должен быть ясен, как линзы подзорной трубы; четок, как рангоут; недвусмыслен, как пушечный выстрел.

Он багровел, играл желваками, отписывая в лондонское адмиралтейство: «Ни я, ни французский адмирал не можем понять, каким образом мы должны заставить турок изменить их линию поведения без совершения военных действий. Если это должно быть что-то вроде блокады, то всякой попытке прорвать ее можно противостоять только силой».

Но прямых инструкций все не было и не было. Англо-французы лишь бранились с турками. Выходило что-то похожее на препирательства Тома Сойера с мальчиком в синей куртке: «Убирайся отсюда!» — «Сам убирайся». — «Не желаю!» — «И я не желаю». — «Погоди, я напущу на тебя моего старшего брата. Он может пригнуть тебя одним мизинцем...» — «Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат еще побольше твоего, и он может швырнуть твоего вон через тот забор».

Твен замечает, что «оба старших брата» были плодом фантазии куражающихся мальчуганов. Но эскадра Гейдена вовсе не была мифической. И едва она показалась в районе крейсерства Кодрингтона и де Риньи, как тотчас сделалось ясным, что вот он и явился, этот самый «старший брат».

Гейдена не одолевали никакие сомнения. Гейден не страшился попасть впросак. Он знал, что ему делать. Он знал, как ему поступать. Он располагал педантичными и решительными указаниями императора. К тому же Гейдену, как всякому адмиралу или генералу русской службы, нечего было опасаться того, чего волей-неволей опасались его коллеги — общественного мнения своей страны. Де Риньи раздраженно и не без зависти замечал: «Гейден может делать, что хочет; русская печать его не тронет».

Едва андреевский флаг заполоскал в Ионическом море, английская и французская дипломатическая машина тотчас перестала скрипеть и буксовать. Союзники ничего так не опасались, как единоличного вмешательства России в «греческий вопрос». А в том, что единоличное вмешательство не заставит себя ждать, они догадывались, знали. Слова Николая, произнесенные в Кронштадте, на палубе «Азова», не забылись: с неприятелем будет поступлено по-русски. Ливен, русский посол в Лондоне, провожая Гейдена, выразился тоже не уклончиво: если союзные адмиралы заспотыкаются, ступайте вперед один. Точно так же напутствовал из Петербурга и министр иностранных дел: держитесь с друзьями дружески, но коли понадобится, начинайте боевые действия.

Турки еще до Наварина смекнули, что с появлением русских дело приняло серьезный оборот. Мичман Гарри Кодрингтон, сын адмирала, пишет в Англию, матери: «Любопытно было наблюдать, как турки удалялись от русских судов и держались нашей подветренной стороны. Когда русские суда приближались к ним, они тотчас бежали на нашу сторону: что-то зловещее виделось им в русских судах».

Тогда-то уж — что ж поделаешь? — союзные адмиралы получили разрешение «наводить пушки», а не тень на плетень.

Покамест англо-французы фланировали близ греческих берегов, покамест англо-французская дипломатия разглагольствовала в Стамбуле, турки поступали на манер крыловского кота Васьки.

Тесня греческих повстанцев, они овладели большей частью страны. В их руках находились все важные крепости. Мятежная птица Феникс, изображенная на знамени греков, вот-вот могла снова обратиться во прах.

Султанским воинством энергически распоряжался Ибрагим-паша. Ему было тридцать восемь от роду. Он приходился сыном Мухаммеду-Али,

могущественному вассалу константинопольского монарха, правителю Египта. Ибрагим-паша, сознавая преимущества европейской организации, заставил своих офицеров учиться у французских наемников. Сверх того Ибрагим отдавал предпочтение строгой дисциплине перед «восточной распушенностью». В 1827 году он уже командовал не только турецко-египетским флотом, но и сухопутными войсками. И это он, Ибрагим-паша, избрал Наварин своей опорной базой.

То была одна из лучших гаваней не только Мореи, но и всей Греции. Обширная, она могла принять сотни кораблей. Глубокая, она позволяла встать на якорь судну любой осадки. Остров Сфактерия прикрывал ее, как щитом. Узкий проход затруднял прорыв в нее с моря. Некогда на здешнем берегу красовался город Пилос, где жил-поживал царь Нестор, упомянутый Гомером. Во время Пелопоннесской войны афиняне удерживали Пилос пятнадцать лет. Века спустя на его руинах франки возвели укрепление. А после там уже обитали, как утверждают, выходцы из Испании, из Наварры. Турки, завладев Грецией, возвели на берегу прекрасной бухты цитадель, подле которой жался городок Наварин.

Задолго до Нахимова и крепости, и городу, и турецкому флоту досталось от предшественников гейденовской эскадры, от моряков Спиридова. Тогда к Наварину набежал отряд кораблей под командой сына «арапа Петра Великого», бригадира артиллерии Ганнибала. Он учинил там громкое дело. По слову его внука-поэта, «среди гибельных пучин громада кораблей вспылала и пал впервые Наварин».

Теперь, пятьдесят семь лет спустя, Ибрагим-паша вряд ли сравнивал дни минувшие с днями нынешними. Ему забот хватало и без исторических параллелей. В Наварин спешили суда с войсками и припасами. Из Наварина спешили суда, груженные пленными-рабами и добычей. Там снаряжались эскадры для действий в греческих водах против мятежных корабельщиков. Совсем незадолго до подхода к Наварину союзников Ибрагим успел сосредоточить, пропустив через «наваринские ворота», семидесятитысячную оккупационную армию.

Она бесчинствовала в Морее. Трагедия была отмечена даже англичанами, не склонными в силу политических расчетов гипертрофировать ужасы турецкой расправы с греками. «...Мы узнали, — докладывал один из морских разведчиков Кодрингтону, — что дело опустошения все время продолжается... Страдания населения, согнанного в равнину, ужасны! Женщины и дети питаются травой и умирают на каждом шагу. Думают, что если Ибрагим останется в Морее, то от голода умрет более чем треть населения».

Союзные адмиралы пытались словесно урезонить Ибрагима. Ибрагим, как утверждают европейские мемуаристы, держался «надменно», «вероломно», «нагло». Но, черт возьми, он ведь тоже, как и европейцы адмиралы, ходил «под богом», под своим монархом. И к тому же в случае «замирения» Греции ему, Ибрагиму, она была обещана как владение, вассальное султану. Исполняя некоторые требования союзников, Ибрагим покорялся обстоятельствам. В подобных случаях, как всем известно, очень трудно не поддаться соблазну обмануть обстоятельства.

Словесные убеждения ни к чему не приводили. Оставался последний довод — пушки. Однако в Наваринской бухте их было более двух тысяч трехсот. А на борту союзников — тысяча триста.

Теперь вообразим расположение турецко-египетского флота. Так, как измыслил его капитан Летелье (не знаю, однофамилец или потомок известного подручного кардинала Мазарини), французский капитан Летелье, один из тех наемников, которых столь радушно принимал Ибрагим-паша. Согласно признанию знатока морских баталий сэра Эдуарда Кодрингтона план врага был «прекрасно составлен».

Турецкая и египетская эскадры выстроились, стоя на якорях, в виде полумесяца. Не потому, конечно, что Летелье был «символистом» и турецкий полумесяц почитал превыше прочих геральдических знаков. Нет, полумесяц позволял держать под огнем всю гавань. При этом его фланги упирались в береговые батареи. И полумесяц не был одинарным. Корабли якорились в две, а то и в три линии, оставляя между собою пространственный разрыв, позволяющий задним вести огонь одновременно с передними. А наперед Летелье выдвинул тяжелые боевые единицы — линейные корабли и фрегаты. За ними поместил тех, что слабее — корветы и бриги. Сверх того диспозиция имела и такое преимущество: она диктовала союзникам, в какой части гавани произвести боевое развертывание.

Чем и как думал одолеть врага сэр Эдуард, командующий союзными эскадрами, участник Трафальгара, сподвижник Нельсона, съевший собаку на морских операциях?

Вот тут-то и начинается смердить талейрановщиной. Раскладываются карты не штурманские, а шулерские. Игра идет втемную. Присмотримся к ней.

Флот Ибрагима был не единым, а соединенным турецко-египетским флотом. Каждой эскадрой командовал свой адмирал. Турецкой — Тахир-паша; египетской — Мухарем-бей.

Египет, как уже говорилось, обретался в вассальной зависимости от

султана. Скрепы зависимости слабели год от году и грозили вот-вот лопнуть. Египтом правил тогда Мухаммед-Али. Человек умный и коварный, он давно норовил отпасть от стамбульского сюзерена. Мухаммеда втайне поддерживали Англия и Франция; их резиденты сносились с пашой постоянно.

Теперь внимание! За месяц до Наваринской битвы эскадру Кодрингтона покинул корабль «Пелерус». «Пелерус» полетел в Африку. Капитан корабля информировал о положении дел на море английского консула в Каире. Консул не замедлил получить аудиенцию у Мухаммеда. И консул, и некий сухопутный британец подполковничьего чина, и другие агенты Альбиона настойчиво клонили пашу к «наваринскому воздержанию».

Паша маялся той двойственностью, какую называют «и хочется и колется». Хотелось сохранить свою эскадру, хотелось сохранить потаенное дружество с великими западными державами. А «кололось» потому, что страшил «оттоманский гнев и ненависть всех мусульман». Поколебавшись, паша намекнул, что его военно-морские силы, дислоцирующиеся в Наварине, первыми стрелять не станут.

Это уже был козырь. И весьма крупный. Другой, поменьше, но тоже немаловажный, «вытянул» де Риньи. Он убедил французских наемников-офицеров покинуть египетские корабли, дабы в случае столкновения не запятнать себя убийствами соотечественников.

Заручившись всем этим, Кодрингтон приступает к составлению боевого походного порядка. Он составляет диспозицию эскадрам, которые должны войти в Наваринскую бухту. Своей эскадре, а равно и французской он предписывает наступать правой кильватерной колонной. Стало быть, так, чтобы расположиться на якорях супротив *египетских* кораблей, в пассивности которых он почти убежден. Ну-с, а господин граф Гейден, тот идет левой кильватерной колонной. То бишь расположиться на рейде супротив *турецких* кораблей, в активности которых сэр Эдуард совершенно убежден. Иными словами: русские должны ломить открытой грудью в шквальный огонь.

Есть, правда, свидетельства, что Кодрингтон все ж надеялся обойтись демаршем, демонстрацией, надеялся запугать Ибрагима, понудить ретироваться из Греции и, значит, избежать кровопролития на водах наваринских. Однако школьная арифметика — число вражеских кораблей и число вражеских артиллерийских стволов — и простаку указала бы на иллюзорность подобных надежд. А посему приходится без обиняков признать: сэр Эдуард и граф Анри-Готье с превеликой щедростью

распорядились русской кровью.

Читая боевой приказ союзного главнокомандующего, тотчас замечаешь отсутствие каких-либо тактических, конкретных указаний. Что ж сие такое, коли не желание, не намерение избежать сражения? Хорошо. Пусть так. Но если сам Кодрингтон вместе с де Риньи мог уповать на безмолвие египетской части флота, то уж русских (и Кодрингтон это отлично понимал) поджидали турецкие ядра и брандеры. Да сверх того и перекрестный огонь, крайне опасный для бегучего и стоячего такелажа, для всего парусного вооружения.

Короче говоря, пролог Наваринского сражения — один из примеров коварства западноевропейских союзников России.

Однако в ходе сражения, когда русские явили громадную выдержку, поразительное мужество и отменное искусство, в разгар боя сэр Эдуард словно бы потрянул стариной, потрянул гривой и принялся «работать» согласно традициям родного ему флота. От англичан старались не отставать и некоторые французские капитаны, хотя в целом соединение де Риньи не блеснуло мастерством.

Коль скоро главную тяжесть баталии приняли корабли Гейдена, справедливость требует сказать об этом подробнее. А кроме того, на флагманском «Азове» был наш герой; ведь именно в Наварине Павел Нахимов и окунулся с головою в огненную купель.

8(20) октября 1827 года в первую половину дня англо-французская колонна после некоторой сумятицы нерасторопных подчиненных де Риньи благополучно втянулась в бухту и столь же благополучно отдала якоря на местах, указанных диспозицией.

Гавань не огласилась ни единым выстрелом. Молчала крепость. Молчали береговые батареи. Молчали корабли. Кодрингтон послал парламентаря на египетский корабль. И еще сорок пять минут эскадра Мухарем-бея безмолвствовала.

Когда грянул первый выстрел, кто его произвел (турки или все же египтяне), теперь, пожалуй, точно не определишь. Ибо даже в тот момент ни Кодрингтон, ни командир его флагманского корабля «Азия» Гурзон не знали этого. Но вероятнее всего пушечную дуэль начали все же турки. А следом, нехотя, недружно, как из-под палки — Мухарем-бей: он, надо думать, получил-таки соответствующее указание из Каира, от паши.

Как раз в то время, когда заголосили пушки (и англичане и французы, спокойно стоя на якорях, могли отбиваться прицельными выстрелами), в это как раз время наши, повинаясь давешнему приказу главнокомандующего, еще только тянулись сквозь узкий, не шире мили,

пролив.

Русские двигались друг за другом. Они шли строем кильватерной колонны. Их походный ордер выглядел так:

а) Линейные корабли:

«Азов» под флагом контр-адмирала Л. П. Гейдена.

Командир — капитан 1-го ранга М. П. Лазарев.

«Гангут». Командир — капитан 2-го ранга А. П. Авинов.

«Иезекииль». Командир — капитан 2-го ранга И. И. Свинкин.

«Александр Невский». Командир — капитан 2-го ранга Л. Ф. Богданович.

б) Фрегаты:

«Константин». Командир — капитан 2-го ранга С. П. Хрущев.

«Елена». Командир — капитан-лейтенант Епанчин 1-й.

«Проворный». Командир — капитан-лейтенант Епанчин 2-й.

«Кастор». Командир — капитан-лейтенант Сытин.

Эскадра несла 468 орудий (по другим сведениям — 466).

Примерно столько ж имел Кодрингтон.

На сотню меньше имел де Риньи.

Но преимущество последних пред Гейденом поймет и школяр. Англичане и французы уже стояли на позиции. А русские еще шли к позиции. Англичане и французы свершили боевое развертывание в тишине и спокойствии. Они отдавали якоря и убирали паруса при таких обстоятельствах, о которых можно, пожалуй, сказать словами Тютчева: «И я заслушивался пенья великих средиземных волн». Русские производили боевое развертывание под ужаснейшей канонадой неприятеля. Сперва перекрестной — из крепости и с острова Сфактерия. Потом налегая грудью на огневой щит главных сил врага. Русские пробирались к точкам, указанным диспозицией, сквозь темный, едкий, слепой, предательский пороховой дым, сквозь оранжево-белые сполохи взрывов, сквозь гром, свист, треск, всплески. Русские пушки молчали. Русские шли, шли, шли. Туда, где было их место согласно плану Кодрингтона.

Они прошли сквозь ад крошечный. Достигли положенного предела, заданных рубежей. Надо было отдать якоря. Надо было убрать паруса. Тут выкажи не забубённую отчаянность, тут не рубаху рвануть от ворота до

пупа, не-ет, стисни зубы, сдержи клекот сердца, слушай команду — и работай. Работай меж небом, расколотым ядрами, и водою, кипящей от ядер. А где-то, совсем уж рядом, на короткой дистанции пистолетного выстрела — центр неприятельского полумесяца, центр огромной подковы. И она, сотрясаясь, изрыгает залп за залпом.

Наконец готово. Теперь слово артиллерии. Корабли дрались, как витязи на богатырских заставах, каждый против нескольких. «Азов», например, мужествовал одновременно с четырьмя, в том числе и с фрегатом под флагом Тахир-паши. Сверх того Лазарев еще изловчился пособить Кодрингтону, выручив его «Азию».

Именно к переломному моменту Наваринского боя, к моменту начала конца турецко-египетского флота, только к нему, к этому решительному моменту, достигнутому русскими линейными кораблями и фрегатами, можно отнести оценку «Боевой летописи русского флота» (Москва, 1948): «...Союзные эскадры действовали в полном единодушии, оказывая друг другу взаимную поддержку».

Краткость хроники не дала составителям расширить и уточнить приведенную оценку. «Положение англичан в Наварине, — справедливо отмечал современный документ, — можно уподобить их положению при Ватерлоо, и если бы здесь адмирал гр. Гейден, подобно как там сделал Блюхер, не прибыл бы вовремя, то г. Кодрингтон подвергнул бы корабли свои совершенному истреблению».

Обстоятельство это до такой степени раздражает английских историков, что они и поныне как бы не замечают его. Ну что ж, певцы былой британской славы, очевидно, равняют историю с дышлом. А дышло, известно, куда повернул, туда и вышло. Но как бы там ни было, а из песни слова не выкинешь. Ведь сам Кодрингтон — морская душа, хоть и попорченная чуждыми ей дипломатическими извивами, — сам Эдуард Кодрингтон признавал первенствующую роль эскадры Гейдена.

Наваринский бой завершился в шесть пополудни. Флот Ибрагим-паши не существовал. Барабанщики с осунувшимися, почернелыми лицами били отбой. Дышалось трудно: и от страшной усталости, и от густых масс порохового дыма, еще не рассеянного вечерним бризом. Солнце садилось. Оно было багровым, солнце Наварина, как раскаленные ядра, как догорающие судовые обломки.

На кораблях «плотничали» хирурги: у русских и французов ранило около полутора ста матросов и офицеров, у англичан — более двухсот. День быстро мерк. Над бухтой, над берегом, над морем простерлось беззвездное небо. Мертвые, уложенные на палубах, незряче глядели в глухое

наваринское небо. Потери русских и французов были почти равными: около или чуть больше полусотни душ, у англичан — семьдесят пять.

Злее всех, горше всех пострадал корабль, на котором Нахимову довелось принять боевое крещение: двадцать семь мертвецов, шестьдесят семь искалеченных. Никто в союзном флоте не сражался с такой сокрушительной энергией, как флагманский линкор Гейдена. Нигде, ни на «Азии» у Кодрингтона, ни тем паче на «Сирене» у де Риньи, — нигде орудийная прислуга, команда не действовала столь умело и сноровисто, столь безоглядно-решительно, находчиво, четко, как на лазаревском «Азове».

Впоследствии, склонившись над почтовым листком и мысленно беседуя с Рейнеке, Нахимов недоуменно пожимал плечами: «Я не понимаю, любезный друг, как я уцелел...» И точно, было чему дивиться. Ведь он все время находился на верхней палубе. Он ни на миг не покинул подчиненных. А среди них шестерых убило, семнадцать ранило. Павла Степановича не только не задело ядром, картечью, осколками рангоута — его огонь не тронул, хотя дважды занималось бешеное пламя и Нахимов со своими людьми дважды спасал корабль от пожара.

Кому из тогдашних моряков не был ведом «классический» случай с «Принцем Джорджем»? Этот британский линкор загорелся внезапно. И что же? Первым покинул борт... адмирал. За ним следом... командир. «Принц Джордж» превратился в бедлам. Сотни душ погибли. И это, заметьте, в мирных условиях, когда не гремели пушки. Вообразите ж обстоятельства, в которых действовали Нахимов и его молодцы. Не ясно ль, что только железная выдержка и непрекословная исполнительность выручили русский флагманский корабль? И не ясно ль, что тот офицер, который сумел дважды задушить пламя, не прекращая притом работу вверенной ему артиллерии, не ясно ль, что такой офицер и нравственно и профессионально был на десять голов выше адмирала и командира с «Принца Джорджа»?..

Во всяком бою, когда его ведут настоящие бойцы, личная храбрость становится коллективной храбростью и уже трудно отличить, кто поименно отличился. И все ж азовцев восхитил лейтенант Бутенев, тот самый, что мичманом плавал на «Крейсере». Да и как было не восхищаться Иваном Петровичем? Раненный тяжело, с рукой, раздробленной выше локтя, с лицом словно мелом залитым, он не уходил с палубы...

«Азов» удостоился высшей воинской морской награды. Ни один парусный боец российского флота еще не был взыскан ею. И вот «в честь достохвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов» израненный, обожженный «Азов» получает

кормовой георгиевский флаг: в перекрестии синих полос (таких же, как и на обычном андреевском флаге) алел геральдический щит с белым конем и синей мантией Егория, жившего в народном сознании не только честным воителем, но и усердным мужицким заступником.

Навсегда, глубоко, сильно оттиснулся Наварин в душе Нахимова. Не внешней памятью запомнился, а той, что зовут внутренней, когда познанное ложится в душу краеугольным нравственным достоянием.

Безликость смерти мечена разными масками. Ощеренной и гривастой была она в океане, когда Нахимов ринулся спасти матроса. Огненным столпом, волоча черные ризы, металась она по Наваринскому рейду.

В океане Нахимов словно бы состязался со смертью, бежал наперегонки с нею, чтоб не дать поглотить тонущего человека. В Наварине Нахимов испытал высокий восторг: он схватился со смертью врукопашную. Нет, не про него было сказано: «И умрешь в сердце морей смертью убитых».

Время оставляет от сражений донесения и мемуары, карты и схемы. Донесения подчас лапидарно-звонящи. В мемуарах нередко обнаруживается то, что психологи зовут «мечтательной ложью». В картах и схемах есть бесстрастная красота. А по мне, привлекательнее всего частные письма современников. Одно из таких принадлежит Нахимову. Оно адресовано Рейнеке. За строками слышен стук сердца. К тому же нам редко случается внимать голосу Нахимова, и посему — вот выдержки из этого послания:

«В 3 часа мы положили якорь в назначенном месте и повернулись шприптом вдоль борта неприятельского линейного корабля и двухдечного фрегата под турецким адмиральским флагом и еще одного фрегата. Открыли огонь с правого борта. Надобно тебе сказать, что „Гангут“^[9] в дыму немного оттянул линию, потом заштил и целым часом опоздал прийти на свое место. В это время мы выдерживали огонь шести судов и именно всех тех, которых должны были занять наши корабли. О любезный друг! Казалось, весь ад разверзся перед нами! Не было места, куда бы не сыпались кнители^[10], ядра и картечь. И ежели б турки не били нас очень много по рангоуту, а били все в корпус, то я смело уверен, что у нас не осталось бы и половины команды. Надо было драться истинно с особенным мужеством, чтобы выдержать весь этот огонь и разбить противников, стоящих вдоль правого нашего борта (в чем нам отдают справедливость наши союзники). Когда же „Гангут“, „Иезекииль“ и „Александр Невский“ заняли свои места, тогда нам сделалось несравненно

легче. Вскоре после сего пришел еще французский корабль „Бреславль“, не нашедший в своей линии места, стал на якорь у нас под кормой и занял линейный корабль (турецкий. — Ю. Д.), совершенно уже обитый нами. Тогда, повернувшись всем лагом к фрегатам, мы очень скоро их разбили. Они обрубили канаты, и их потащило к берегу, но вскоре один из них загорелся и был взорван на воздух, другой, будучи в совершенно обитом состоянии, приткнулся к мели и ночью турками сожжен. „Бреславль“ также очень скоро заставил замолчать своего обитого противника (действия нашего корабля можно применить и ко всем другим судам соединенного флота с большею или меньшею разностью)... О любезный друг! Кровавопролитнее и губительнее этого сражения едва ли когда флот имел. Сами англичане признаются, что ни при Абукире, ни при Трафальгаре ничего подобного не видали»^[11].

Итак, Наварин, отгремев, отходил в прошлое, становясь историей. Но история неостановима, как и быстротекущая жизнь, и прошлое иногда явно, а иногда подспудно диктует будущему.

Разгром основных сил турецкого флота был не просто потоплением, сожжением, разбитием таких-то и таких-то кораблей или фрегатов. И не просто гибелью стольких-то офицеров и стольких-то матросов. Наваринское одоление неприятеля было прежде всего крупной, весомой победой России. Не потому лишь, что именно русской эскадре принадлежала честь истребления главной части турецких военно-морских сил. А потому что вскоре после Наварина Греция получила долгожданную независимость от султана. Потому еще, что наваринский гром возвестил Стамбулу грозную опасность блокады Дарданелл, облегчил операции русской армии в войне против Турции 1828–1829 годов.

Пространное, для Нахимова прямо-таки редкостно-пространное письмо к Рейнеке было написано без малого месяц спустя после Наваринской битвы. Павел Степанович уже, конечно, знал, что представлен к чину капитан-лейтенанта и ордену. Но, по обыкновению, ни словом о своих личных заслугах не обмолвился.

В представлении о Нахимове сказано: «Находился при управлении парусов и командовал орудиями на баке, действовал с отличною храбростию и был причиною двукратного потушения пожара...» И рядом, в графе «Мнением моим полагаю наградить»: «Следующим чином и

орденом св. Георгия 4-го класса»^[12].

Резолюция Николая была краткой, как окрик: «Дать».

Дали.

Но главной наградой за Наварин был корвет «Наварин». Плох тот морской офицер, который не мечтает самостоятельно водить корабль. Нахимову корвет был желанным первенцем.

Корвет отняли у турок. Он назывался «Нассаби́х Сабах», что можно перевести как «Восточная звезда». Прочнехонький, из лучшего дуба, корвет нес двадцать орудий добротного английского литья. Переименованный в «Наварин», он годился для строя, как здоровый, ладный повобранец — лет на двадцать пять, не меньше.

«Командиром же на сей корвет, — доносил в Петербург Гейден, — я назначил капитан-лейтенанта Нахимова, как такого офицера, который по известному мне усердию и способности к морской службе в скором времени доведет оный до лучшего морского порядка и сделает его, так сказать, украшением вверенной мне эскадры...»

Корвет свой Павел Степанович охорашивал и вылизывал в Ла-Валетте, на Мальте. Капитан-лейтенант работал не зная роздыха, буквально с засученными рукавами. Современник писал: «...Я видел Нахимова командиром призового корвета „Наварин“, вооруженного им на Мальте со всевозможной морскою роскошью и щегольством, на удивление англичан, знатоков морского дела. В глазах наших, тогда его сослуживцев в Средиземном море, он был труженик неутомимый. Я твердо помню общий тогда голос, что Павел Степанович служит 24 часа в сутки. Никогда товарищи не упрекали его в желании выслужиться тем, а веровали в его призвание и преданность своему делу. Подчиненные его всегда видели, что он работает более их, а потому исполняли тяжелую службу без ропота и с уверенностью, что все, что следует им или в чем можно сделать облегчение, командиром не будет забыто».

В этом свидетельстве важно оттенить черты Нахимова, которые впоследствии столь высоко, всем сердцем оценили защитники Севастополя: Нахимов работает более других, он в службе круглосуточно, он не забудет ничего, что может облегчить участь подчиненного, будь то офицер, будь то матрос.

Боевая кампания не завершилась Наваринской битвой. Поддерживая русско-турецкий сухопутный фронт, эскадра блокировала Дарданеллы, перехватывая вражеские суда на морских коммуникациях^[13].

Минули годы двадцать восьмой и следующий. В мае восемьсот

тридцатого эскадра вернулась в Кронштадт. Аттестуя командира «Наварина», Лазарев, уже контр-адмирал, в графе «Достоинства» отметил то, что ставил превыше всего на свете: «Отличный и совершенно знающий свое дело морской капитан».

Глава вторая

Всяк знает свою «малую родину», как говорят испанцы. Но есть заветные места, равно всем священные, где столь властна твоя общность с Большой Родиной.

Молчит земля, пропитанная кровью. Молчишь и ты. В молчании внятен голос минувшего. Не частного, но тоже общего, всенародного, а значит, и твоего. Жаль тех, кто хоть однажды не расслышал этот голос.

Малахов курган господствовал в обороне Севастополя. Можно позабыть высоту кургана над уровнем моря. Нельзя позабыть высоту его над уровнем истории.

Один офицер-артиллерист изобразил не только Малахов курган времен осады, но и чувства Володи Козельцова, когда молоденький прапорщик впервые попал на ключевую позицию великой Севастопольской обороны.

«Так вот и я на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства. Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было вскоре поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов около бруствера за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардировки не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батарее.) Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился о вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказание и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги.

«Воздух был чистый и свежий, — особенно после блиндажа, — ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомбы...»

Офицера-артиллериста, описавшего Малахов курган и обороняющийся Севастополь, звали Лев Николаевич Толстой.

Днем с кургана далеко видно. И другому защитнику Севастополя,

адмиралу Нахимову, открывался оттуда чудовищный ландшафт завалов, траншей, пушек, трупов.

Но оттуда, с кургана, Нахимов видел то, чего не мог видеть Толстой: Павел Степанович видел еще и свои прошедшие годы — черноморские, севастопольские.

1

На рождество 1834-го Лазарев был утвержден главным командиром Черноморского флота; по-нынешнему сказать — командующим. Однако еще до утверждения в этой высокой должности Михаил Петрович манил на юг «отличных морских капитанов», прежних испытанных коллег, оставшихся на Балтике. Звал он и Павла Степановича Нахимова.

Нахимов все еще плавал на корвете «Наварин». Потом получил новехонький 44-пушечный фрегат и снарядил его, по обыкновению, «со всевозможным морским щегольством». Современник восхищался: «Это был такой красавец, что весь флот им любовался и весьма многие приезжали учиться чистоте, вооружению и военному порядку, на нем заведенному».

Фрегат «Паллада» впоследствии (уже без Нахимова) прошел океаны. И «вошел» навсегда в литературу: на нем путешествовал Гончаров... А Нахимов свое пребывание на фрегате отметил поступком весьма примечательным.

Дело было так. В составе 2-й балтийской дивизии «Паллада» находилась в плавании. Дивизию вел вице-адмирал Беллинсгаузен. Августовской ненастной ночью (крепкий шквалистый ветер, пасмурность, дождь) на фрегате Нахимова, запеленговав маячный огонь, определили, что эскадра вот-вот выскочит на камни. Момент был критический. Павел Степанович сделал сигнал: «Флот идет к опасности». Ответа флагмана не последовало. Тогда Нахимов, не теряя времени, уменьшил ход и повернул на другой галс, то есть самовольно изменил курс, самовольно вышел из ордера, сломав походный порядок.

Но, во-первых, сигнальная книга предусматривала такой сигнал; стало быть, формально не запрещалось им воспользоваться, командуй эскадрой хоть сам господь бог. Во-вторых, сигнал Нахимова, который, как уверяют биографы, спас эскадру, сигнал этот, оказывается, не разобрали, не поняли на флагманском корабле. Да так вот и отметили — дважды, дважды! — в шканечном (вахтенном) журнале: ничего «по причине дождя и большого

волнения рассмотреть не могли».

Нахимов поступил в строгом соответствии с правилами службы. У него, верно, был отличный штурман; может быть, проверив штурманский расчет, Нахимов убедился в его правоте. И все ж далеко не каждый, оказавшись на месте Павла Степановича, осмелился бы сделать то, что он сделал: указать на ошибку адмиралу. Да еще какому! Самому Беллинсгаузену, начальнику матерому, уважаемому и почитаемому, очень и очень авторитетному.

Суть поступка Нахимова лежит не столько в сфере профессиональной, сколько в сфере нравственной. Вообразите на минуту: предостережение оказалось вздорным. Что тогда? Неминуемое изгнание с флота, ежели не судебное разбирательство. Ведь малейшее нарушение субординации немедленно докладывалось царю. А Николай никогда и никому не прощал «дерзость». Он, например, без колебаний разжаловал в матросы капитана 1-го ранга, георгиевского кавалера за весьма несерьезное «ослушание противу своего бригадного командира».

Конечно, адмирал Беллинсгаузен, случалось, перечил и самому Николаю, выгораживая подчиненного^[14]. Однако Нахимов прекрасно понимал, что «в его случае» заступничество Фаддея Фаддеевича не спасет от монаршего гнева. Но Нахимов не был бы Нахимовым, если бы предпочел уклониться, предпочел бы не оспаривать флагмана. Он был бы не Нахимовым, а разве лишь чиновником в морском мундире...

Что ж до спасения эскадры, то она действительно была спасена (хотя несколько кораблей выскочило-таки на камни) не самим по себе сигналом, а, очевидно, тем, что флагман обратил внимание на выход «Паллады» из строя и приказал переменить курс^[15].

Говорят, Нахимов не только не пострадал, но даже удостоился похвалы из уст императора: «Я тебе обязан сохранением эскадры. Благодарю тебя. Я никогда этого не забуду!»

Много толков и пересудов вызвал поступок Нахимова. Ему дивились. Удивление весьма красноречивое: редкие сотоварищи Нахимова осмелились бы на нечто подобное.

В 1834 году Павла Степановича по ходатайству Лазарева перевели на Черное море. Сигналом «Флот идет к опасности» и закончилась, в сущности, балтийская жизнь Нахимова. Но вот еще что: в сигнале этом нетрудно усмотреть символику.

Николай посетил как-то один из балтийских кораблей. Императору приглянулась командирская каюта: в зеркалах отражались vis-à-vis он,

Николай Палкин, и Петр Великий. Это было, уверяет современник, «очень эффектно», и «у государя явилась приятная улыбка».

Зеркала сего корабельного будуара отражали не только физиономию «царствующего благополучно», но и физиономию царствующей парадности. Деревянными придворными назвал кронштадтскую эскадру наблюдатель, отнюдь не бунтовщик; поклонника абсолютизма ужасала маршировка, перенесенная с территории на акваторию.

Однако Николаю, рассказывает другой наблюдатель, «было мало сделать из своих офицеров машины, в чем он зашел дальше своих предшественников, он захотел сделать из них машины, ничем не связанные друг с другом. Решившись истребить в их среде корпоративный дух, он прибег для этого к тайным мероприятиям, которые в конечном счете изгнали сердечность и умертвили теплое чувство товарищества...»^[16].

Таков пейзаж. Безотрадный, как солончак. Однако в нем есть частности. Флот на юге отличался от флота на северо-запада. Некоторые поправки вносил географический фактор. Удаленность Севастополя от Зимнего дворца была благом. Конечно, для тех, кто желал служить, не желая прислуживать. А ведь и Лазарев однажды молвил: «Хоть я Николаю и многим обязан, но Россию на него никогда не променяю»^[17].

Боевые операции давали черноморцам то, чего никак не могли дать балтийцам тамошние парадные упражнения: сознание своей значимости, государственной важности. Теперешней, сиюминутной, а не скрытой в туманах отдаленного будущего.

На южных морских рубежах России (как и на сухопутных кавказских линиях) возникало и крепло что-то похожее на непредусмотренное уставами братство. Тут нельзя было по-настоящему выслужиться, а надо было по-настоящему служить. Тут честолюбие получало другое, нестоличное звучание. Тут репутация складывалась не в гостиных, а на Графской пристани, этом севастопольском форуме, где неліцеприятно обсуждались корабельные маневры и работы, достоинства мичмана, управляющего шлюпкой, и достоинства адмирала, управляющего эскадрой.

Долгие годы черноморцы аттестовались «отчаянными» — бесшабашные кутилы, ерники, строптивцы и т. п. Но минуло время, и под влиянием таких людей, как Нахимов, «черноморцы переродились».

Характерную частность отметил писатель Н. С. Лесков: в Черноморском флоте, «в самую блестящую его пору, при командирах, имена которых покрыты неувядаемою славой и высокими доблестями чести и характеров, все избегали употребления титулов в разговоре. Там

крепко жил простой и вполне хороший русский обычай называть друг друга не иначе как по крестному имени и отчеству... Таких славных героев, как Нахимов и Лазарев, подчиненные с семейною простотою называли в разговоре Павел Степанович, Михаил Петрович, а эти знаменитые адмиралы, в свою очередь, также называли по имени и отчеству офицеров... Такого простого обычая держались все, и флот дорожил этою простотою; она не оказывала никакого дурного влияния на характер субординации, а, напротив, по мнению старых моряков, она приносила пользу. „Через произношение имени, — рассказывают старые моряки, — все приказания начальника получали приятный оттенок отеческой кротости и исполнялись с любовью; а ответы подчиненных с таким же наименованием старшего придавали всяким объяснениям и оправданиям сыновнюю искренность“.»

Наконец, еще одно. Немаловажное не только в смысле практическом, но и моральном. Лихоимство, конечно, преследовалось законом. Но, скажем, в канцелярском, сановном Петербурге удачливый казнокрад вызывал лишь зависть, а не суровое порицание. На далеком от столицы флоте воров решительно не терпели. Их презирали, клеймили, не подавали руки, от них отворачивались. В том же очерке Н. С. Лескова рассказывается, как воспламенился отставной адмирал, человек «замечательной искренности и правдивости», когда в «морском ведомстве обнаружилось первое большое злоупотребление».

«— Слышали? Совершилось! Страшное пророчество совершилось!.. Ужас, позор и посрамленье! Наши моряки, наши до сих пор честные моряки обесславлены: среди нас есть люди, прикосновенные к взяткам!.. А он это предсказывал, я это напоминал, я говорил, что это предсказано, и это так сделается, вот и сделалось — и исполнилось, как он предсказал.

— Кто предсказал?

— Павел Степаныч!

— Какой Павел Степаныч?

— Как „какой Павел Степаныч“!.. Нахимов!

И Фрейганг рассказал какой-то давний случай, когда покойный Нахимов был недоволен каким-то продовольственным распорядителем или комиссионером и стал его распекавать, а тот, начав оправдываться, стал беспрестанно уснащать свою речь словами „ваше превосходительство“. Это так взорвало адмирала, что он закричал:

— Что я вам за превосходительство! Что это еще такое! Вы имени моего, что ли, не знаете, или прельщать меня превосходительством вздумали? У меня имя есть. Это вы — ваше превосходительство, а моряков

нельзя так звать, они вашим ремеслом не занимаются. Тогда их можно будет „так“ звать, когда и они этим станут заниматься...»

По свойствам характера, склонностям, идеалам и надеждам Нахимову, несомненно, куда больше «подходило» Черноморье, нежели Балтика. Не один лишь зов учителя манил его «с милого севера в сторону южную». Подальше от сановного начальства. К черту «теткиных детей»!^[18]

Черное море — главная глава в жизни Нахимова. Долго подвизался он в огромном, важном деле, которое зовется созданием флота.

Бесспорно: по организации службы и подготовке служителей лазаревские эскадры выпестовались отлично. Но какой ценою? Разумеется, неустанными трудами Лазарева и его сподвижников. Разумеется, искусством Лазарева и его помощников. Но в эти неустанные труды, в это искусство приходится, к сожалению, включить и позорный «раздел» лазаревской морской школы: в ней, по свидетельству корреспондента «Колокола», царило «варварское обращение с бедными матросами».

Отмечая превосходную организацию службы и подготовки личного состава, нельзя опускать и еще одно обстоятельство: техническое оснащение русских военно-морских сил год от году все ощутимее отставало от европейских. То не была вина Лазаревых и Нахимовых. То была беда России, стреноженной одряхлевшим феодализмом. И в этом смысле Маркс и Энгельс не ошибались, когда в 1850 году, то есть накануне громадной войны, названной Крымской, констатировали слабость царского флота.

2

«Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна», — так начал Пушкин повесть «Выстрел».

Жизнь флотского офицера изображена другом Пушкина. У меня сохранились копии с его писем. Копии снял давно, почти уж четверть века назад, в Пушкинском доме, что в Ленинграде, а сами письма — тридцатых годов прошлого столетия. Их автор Ф. Ф. Матюшкин был Нахимову ровесником, сослуживцем и знакомцем, тоже, как и Павел Степанович, командовал кораблем и тоже был холост, а потому эти частные письма проливают некоторый свет и на обыденщину нашего героя. Заметим кстати, что адресовались они на Балтику, командиру корвета «Наварин», бывшего нахимовского.

«На празднествах и у нас веселятся, танцуют, гуляют, дают обеды и играют на театре. Веселятся, как и везде, со скукой пополам, танцуют тихим шагом, не в такт с разряженными куклами, гуляют для возбуждения аппетита до обеда, дают обеды не для людей, а для стерлядей, не для души, а для ухи».

«Что сказать вам о своем бытѣ? Вы знаете Севастополь. Живу я в доме поблизости гауптвахты. Тут хозяйничаем мы с Н. М. Вукотичем (который вам кланяется), стена об стену с Нахимовым и Стодольским. Я получил ваше письмо накануне снятия с якоря. 25 сентября М. П. Лазарев ходил с нами в море пробовать новые корабли. „Три святителя“ и „Три иерарха“ хорошие корабли, и каждый из них отвечает за трех, но моя старуха „Варшава“ держится лучше, чем „Три святителя“, лучше несет паруса... Люблю нашу службу, хоть признаться, впереди ничего не видать! Бригада, бригадное счастье, бригадные ревматизмы... Прощайте, другой раз более — я не в духе».

«Я живу по-старому — каждый божий день в хижине и на корабле, вечером — в кругу старых братцев Нахимова, Стодольского. Вообще, проза, скука. Встаю в 7 часов, в 9 часов иду, несмотря на дождь и слякоть, на корабль, потом в экипаж — подписываю ведомости, книги, депорты... В пушку, то есть в 12 часов, возвращаюсь в свою хату. Сажусь, обедаю, выкуриваю сигару и до 3 часов кейфую. Потом отправляюсь в библиотеку — читаю газеты и журналы. В 5 часов пью чай и читаю до 12 часов ночи, курю сигару и сплю. Один день как другой».

На Черном море Нахимов десятилетие командовал 84-пушечной «Силистрией». Он испытывал к кораблю отцовские чувства. Некогда стоял у колыбели «Азова», в «пеленках» принял балтийский фрегат, на эллинге досталась ему и «Силистрия», но с нею он не расставался десять лет кряду, если не считать тягостных месяцев, проведенных в Берлине, Карлсбаде, Гамбурге.

То был мрачный период в жизни Павла Степановича. На чужбину погнали болезни. Эскулапы мытарили пациента различными методами, снадобиями, хирургическим инструментом. Выхваченный из привычной колеи, одинокий, замученный и болезнью и лечением, теряя надежду на исцеление и даже подумывая о смерти, он пишет родственникам, пишет «любезному другу Мише» Рейнеке письма печальные, порою даже отчаянные.

«Пять недель не вставал, не чувствуя ни малейшего облегчения в моей настоящей болезни. Тогда я созвал консилиум — назначили другие средства, испытание которых, несмотря на страдание, нисколько меня не облегчило. 5 августа (24 июля)^[19] снова была консультация... По долгом совещании решили отправить меня к Карлсбадским минеральным водам (в Богемию). Я так был болен и слаб, что комнату переходил с двух приемов... Я изнемог и нравственно и физически и уверен, что перенес более, нежели человек и может и должен вынести. Как часто приходит мне в голову, не смешно ли так долго страдать и для чего, что в этой безжизненной вялой жизни, из которой, конечно, лучшую и большую половину я уже прожил... Жаль и очень жаль, что средства мои слишком скудны, а то бы необходимо мне после Карлсбадских вод взять несколько ванн в Теплице, а потом проехать в Дрезден попробовать там счастье».

«До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что остаюсь здесь на зиму, что еще 6 месяцев должны протечь для меня в ужасном бездействии. Разделаюсь ли, наконец, хоть после этого с своими физическими недугами? В отсутствие мое, вероятно, меня отчислят по флоту и назначат другого командира экипажа и корабля. Много мне было хлопот и за тем и за другим. Не знаю, кому достанется корабль „Силистрия“. Кому суждено окончить воспитание этого юноши, которому дано доброе нравственное направление, дано доброе основание для всех наук, но который еще не кончил курса и не получил твердости, чтоб действовать самобытно. Не в этом состоянии располагал расстаться с ним, но что делать, надобно или служить, или лечиться».

Наконец, некий здравомыслящий медик определил, что больного просто-напросто «отравили лекарствами», что «натуре следует отдохнуть», «переработать всю смесь», разлившуюся в организме. Павел Степанович тотчас ухватился за такой диагноз, собрал силы, собрал пожитки да и кинулся опрометью в Россию.

В августе 1839 года он снова увидел Севастополь. Казалось бы, бухты, небо, волны должны были дохнуть целительным дыханьем. Увы, телесные недуги не отпускали. И Нахимов говорит Рейнеке: «Что для человека в этом мире выше и дороже здоровья? Взгляни на меня, есть и желание, есть и мысль, как сделать, да нет сил, так куда я годен, решительно никуда. И никак не рассчитываю долее двух лет служить на море, именно столько времени, сколько нужно для расплаты долгов...»

Но служить на море оставалось ему не два года, а пятнадцать. И не для расплаты с денежными долгами, а для уплаты того высокого долга, который, как твердо полагал Павел Степанович, всегда числился за ним перед родиной.

Весною сорокового года капитан 1-го ранга П. С. Нахимов поднялся на борт «Силистрии». Праздновать свое воскресение из полумертвых времени не было: флот готовился к крупной десантной операции.

3

Завоевание Кавказа царской Россией — драма долгая, напряженная, кровавая. Она отмечена упорством покорителей и геройством покоряемых.

В первую половину прошлого столетия интересы русского царизма уперлись лоб в лоб с интересами турецкого султана, французских и особенно английских наживал. Узел, ту же гордиева, завязался на Кавказе, на Ближнем Востоке.

Кавказ покоряла русская армия. Флот работал на фланге. Работы хватало. Хотя согласно договору 1829 года берег от устья Кубани до Поти вошел в состав России, стамбульский повелитель не слишком тяготился договорными обязательствами. Его подданные возили на Кавказ оружие европейского происхождения. А вывозили рабов абхазского и черкесского происхождения. Да заодно уж и русских военнопленных, также обращавшихся в рабов.

Санкт-Петербург возмущала отнюдь не участь несчастных абхазцев или черкешенок. И даже, пожалуй, не судьба пленного служивого, хотя тот и был казенным добром. По-настоящему, всерьез заботил и тревожил приток боевых средств к «немирным туземцам».

Николай, повторяем, хорошо сознавал роль и значение черноморских военно-морских сил. Отсюда и внимание к запросам Лазарева, и «невнимание» к тамошней, черноморской шагистике. Роль эту и значение ничуть не хуже Николая понимали и сам Лазарев, и командиры его отрядов и кораблей. Отсюда их особая собранность, чувство ответственности, желание — и умение! — создавать не «деревянных царедворцев», а воителей, окрыленных парусами. Подобные чувства, настроения и намерения были присущи и Нахимову.

«Силистрия» уже побывала в десантной операции. Но ее командир обретался тогда в «пресной, безводной стороне», где «никого не интересуют наши морские движения». Теперь, весною восемьсот

сорокового года, капитан 1-го ранга отправлялся к берегам Кавказа: совсем недавно, в феврале, горцы, видите ли, захватили два форта!

Лазарев держал флаг на «Силистрии». Там же находился и штаб эскадры; его возглавлял капитан 2-го ранга Владимир Алексеевич Корнилов, тоже бывший «азовец», участник Наваринской баталии. Ученикам своим, Нахимову и Корнилову, Лазарев поручал руководить гребными судами, когда спустят на воду отряд генерал-лейтенанта Раевского. Того самого Раевского, что еще подростком геройски дрался на Бородинском поле; теперь он был начальником Черноморской береговой линии.

Итак, на отряды горцев поднялась грозная сила: несколько линейных кораблей, два транспорта и шхуна, фрегат, корвет и четверка пароходов; девять тысяч десантников; адмирал и генерал, сонм штаб-и обер-офицеров... Что и говорить, тяжелая поплыла туча!

Несколько суток спустя она нависла «при местечке Туапсе». Все развернулось по планам Лазарева. Перво-наперво грохнула залпами нахимовская 84-пушечная «Силистрия». Следом открыли огонь комендоры других кораблей. Гребные суда вспенили воду. Пушки продолжали победно греметь. На сей гром ответа не было: туземцы не располагали артиллерией.

Шлюпки и баркасы шли хитро: двумя линиями, причем вторая следовала не за кормою, а в разрывах первой линии. Этим была достигнута одновременность высадки. На берегу произошла краткая и жестокая схватка. Противник отступил.

Российское государство, некогда ставшее ногою твердою при море Балтийском, теперь волей истории должно было другой ногою стать столь же твердо при море Черном.

Взирая на серию черноморских десантов академически бесстрастно, видишь их высокое мастерство. В анналах военно-морского искусства отдается должное Лазареву, Корнилову, Нахимову. И это справедливо, ибо они:

- осуществляли гидрографическое обеспечение десантов, то есть заранее картировали район боевых действий;
- проводили репетиции десантов;
- грузились с таким расчетом, чтобы на суда принимать последними те грузы, которые следует первыми отдать берегу;
- всегда снабжали подчиненных четкой боевой документацией;
- пристально следили за выучкой комендоров, за состоянием артиллерии, как самой внушительной поддержки десантных войск.

И наконец, они держали крепкую и дружественную связь с

командованием сухопутных войск. Мировой опыт показывает, что подобное взаимодействие, как будто бы и не требующее доказательств своей необходимости, достигалось далеко не всегда. Известно немало примеров борьбы честолюбий армейских и флотских военачальников, которое пагубно сказывалось на результатах кампаний. Континентальное положение России предопределило еще в петровские времена важность содружества кораблей и частей. Суворов и Ушаков явили памятные свидетельства этого стратегического и тактического положения, Лазарев и Раевский продолжили традицию, что громко сказалось и впоследствии — при обороне Севастополя.

И все ж, не боясь обвинений в «морском шовинизме», следует подчеркнуть, что без флота упрочение на побережье Кавказа взяло бы куда больше и времени и жизней. А форты, биваки и гарнизоны, разбросанные от устья Кубани до влажных и душных окрестностей Потти, никогда не обрели бы покоя, если бы флот не пресекал турецкую контрабанду. И вот она, вторая главная задача черноморцев: крейсерство. Участвовал в нем и Нахимов. Командуя «Силистрией», он осуществлял то же, что двадцать лет назад под командой Лазарева на фрегате «Крейсер» в водах заокеанских колоний России.

Напряжение десантных операций было сравнительно кратким. Напряжение крейсерской службы растягивалось на долгие месяцы. Десанты были черноморцам боевой школой; крейсерство — школой мореходства.

Свирепели штормы. Не было удобных гаваней, туманной и сложной была навигационная обстановка. В тех местах, где нынешние курортники малюют на скалах «Вася + Катя», море игрывало скверные шуточки. Так, в нахимовское время на рейде Туапсе погибли тринадцать судов; у Сочи гигантские валы разнесли в щепки фрегат и корвет. Штормовые условия заставляли держаться подальше от берегов, а пенистое, изрытое ветрами море заставляло быть моряком с головы до пят.

Из года в год Нахимов нес на «Силистрии» томительную, мучительную и опасную крейсерскую службу. Он старел на палубе. Там же, на палубной службе, получил контр-адмиральские эполеты. И тогда уж расстался с давно возмужавшим «юношей», со своим кораблем.

Однако простился он с «Силистрией» не ради теплого берегового местечка. С восьмисот сорок шестого года Нахимов поднимает контр-адмиральский флаг, этот знак высшего флотского офицера, которым гордится каждый высший офицер флота, то на линейном корабле «Ягудиил», то на фрегате «Коварна», а потом и на «Двенадцати апостолах»

— командует отрядом и дивизией.

Впоследствии в осажденном Севастополе Нахимов говаривал сослуживцам: «Вы-с черноморский моряк, вам смены нет-с и не будет-с!» Он вправе был так говорить, потому что сам был бессменным вахтенным Черноморья.

В книге Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата» есть несколько прекрасных страниц, посвященных одному адмиралу.

«Он постоянно обучал свои экипажи, наблюдал за подчиненными и бодрствовал за них; этот человек никогда не обладал никаким богатством, и при всем том, что его пожаловали пэром Англии, он любил свой оловянный бачок, как простой матрос... Порою он чувствовал, что здоровье его слабеет, и просил Англию пощадить его; но, неумолимая, она отвечала ему: „Оставайтесь в море!“ И он остался — до самой смерти. Этот образ жизни древнего римлянина подавлял меня величием, трогал своей простотою, стоило мне понаблюдать хотя бы день за адмиралом, погруженным в раздумье и замкнувшимся в суровом самоотречении». Он, продолжает автор, «обладал в столь высокой степени тем внутренним спокойствием, которое рождается из священного чувства долга, и вместе с тем беспечной скромностью солдата, для которого мало что значит его личная слава, лишь бы процветало государство. Помню, как он однажды написал: „Отстаивать независимость моей страны — такое мое первое желание в жизни, и пусть уж лучше мое тело станет частью оплота, ограждающего рубежи моей родины, нежели его повезут на пышных дрогах сквозь праздную толпу...“. Он явил мне пример того, каким подобает быть умному военачальнику, занимающемуся воинским искусством не ради честолюбия, а из одной любви к мастерству».

Все это вполне приложимо и к Павлу Степановичу Нахимову.

Итак, годы и годы — в море. Десанты, крейсерство, практические плавания. «Вы-с черноморский моряк, вам смены нет-с и не будет-с!»

Деловые документы тех лет, написанные или подписанные контр-адмиралом Нахимовым, сохранились в архиве. Большею частью они опубликованы. Перелистывая их, видишь неустанный будничный труд, сосредоточенный на том, что зовется горбатым словом: боеготовность. Видишь человека, исполняющего свой долг с завидной тщательностью, спокойно, упорно. Видишь знатока, мастера, не дающего поблажки ни себе, ни другим. И понимаешь, что с таким адмиралом не могли искренне не считаться подчиненные, которые всегда знали, «что труба Нахимова или с корабля, или с квартиры наведена на рейд».

Но в официальных документах мне не встретились какие-либо

замечания, мысли, рассуждения Нахимова относительно «лазаревской системы» в части, касающейся матросов, «нижних чинов».

Раньше уже говорилось о жестокости Лазарева (суровости, если угодно), о том, что многие, слишком многие лазаревцы верили в выдающиеся педагогические таланты розги, линьков, мордобоя.

Митрофан Иванович Скаловский, черноморский мичман, в воспоминаниях о корабельном житье-бытье пятидесятих годов не скрывает шуток их «высокоблагородий». Один завязывал матросикам глаза, учинял ночную тревогу и понуждал унтеров лупцевать «мешкотных». Другой заставлял людей набрать полный рот воды, а затем гнал их на марсы и реи — «отрабатывал тишину» при тяжелых и опасных работах с парусами; потом, когда матросы спускались, проверял: есть ли вода? Не приведи господь — выплюнул: получай двадцать пять горячих. Третий, заметив, что матросик разговаривает с младшим офицером, тоже прописывал порцию линьков. И так далее, и тому подобное.

Тем ценнее для нас отзыв Скаловского о Нахимове: «Он был искренно любим всеми моряками, как офицерами, так равно и матросами. Тогда было правило, чтобы нижние чины на берегу, при отдании чести старшим, снимали бы фуражки и становились во фронт. Павел Степанович махал рукой отдававшему ему честь матросу, чтобы тот поскорее проходил дальше, а на корабле, если молодой матрос снимал фуражку, когда Павел Степанович отдавал ему приказание, то он говорил ему: „Что вы мне кланяетесь?.. Смотрите лучше за своим делом-с“..»

Но вот что неизмеримо важнее этого ворчливого шапочного либерализма — Нахимов вслух высказывает и повторяет: пора уж нам, то бишь офицерам, не считать матроса крепостным, а себя самих — помещиками в мундирах. Знаменательно! Так бы не мог не то чтобы говорить, но и помыслить лейтенант, некогда арестованный Сенявиным за рукоприкладство.

Не возникает ли перед нами какой-то, я бы сказал, неожиданный Нахимов? Очевидно, походные морские годы не были лишь походными и морскими. Очевидно, в душе Нахимова постоянно совершалась трудная нравственная работа. Очевидно, опыты жизни и думы прибавляли Павлу Степановичу не одни лишь морщины.

Официальные документы, как и следовало ожидать, молчат на сей счет. Мемуаристы не переступают черту поверхностных констатаций: Нахимов был добр, Нахимов испытывал к матросам приязнь и т. д. Выручает биографа, пожалуй, только Виктор Иванович Зарудный.

Молодым офицером он служил у Нахимова. Впоследствии Зарудный

написал ряд статей — по гидрографии, метеорологии, истории. Написал и беллетристическое произведение — «Фрегат „Бальчик“», рассказ, снабженный чрезвычайно важной авторской сноской: имена персонажей и названия судов — вымышлены; всё, относящееся к Нахимову, — доподлинно. Страницы «Фрегата „Бальчик“», опубликованные в свое время журналом «Морской сборник», помогают уяснить нравственный облик Павла Степановича Нахимова зрелой поры.

Как говорит Зарудный, в Нахимове жила «могучая породистая симпатия к русскому человеку»; он был полон «горячим сочувствием к своему народу».

Вот тут-то и сокрыты пружины, определившие в конце концов нравственную основу поведения Нахимова. Эта симпатия и это сочувствие возрастали с годами. Все явственнее проступали природная доброта и теплота. Доброта, не переходящая, однако, во всепрощение; и теплота, не равнозначная старческой дряблости.

В отличие от сонма высших офицеров Нахимов, командуя, командовал не серой безликостью, а людьми. У него была не только талантливая голова, но и талантливое сердце. Он видел и понимал, как свидетельствует Зарудный, «тысячу различных оттенков в характерах и темпераментах».

Вот одно из рассуждений Нахимова, крепко запомнившееся автору «Фрегата „Бальчик“»:

«Нельзя принять поголовно одинаковую меру со всеми... Подобное однообразие в действиях начальника показывает, что у него нет ничего общего с подчиненными и что он совершенно не понимает своих соотечественников... А вы думаете, что матрос не заметит этого? Заметит лучше, чем наш брат. Мы говорить умеем лучше, чем замечать, а последнее — уже их дело; а каково пойдет служба, когда все подчиненные будут наверно знать, что начальники их не любят и презирают их? Вот настоящая причина того, что на многих судах ничего не выходит и что некоторые молодые начальники одним страхом хотят действовать. Могу вас уверить, что так. Страх подчас хорошее дело, да согласитесь, что ненатуральная вещь несколько лет работать напропалую ради страха. Необходимо поощрение сочувствием; нужна любовь к своему делу-с, тогда с нашим лихим народом можно такие дела делать, что просто чудо».

Он обладал удивительной способностью изъясняться не красно, но толково, не пространно, но метко. В складе его ума было что-то крыловское: юмор, мудрое лукавство. Они-то подчас и ставили многих в тупик: впрямь ли он такой простак, как кажется, или это только кажется, что он такой простак?

Насквозь русский, не терпевший холопьевого умиления перед иностранщиной, он умел отдавать должное нерусскому. Оценивая знаменитую трафальгарскую баталию, Нахимов хвалил Нельсона. Но характерно: за что? Павел Степанович указывал: английский флотоводец взял верх не маневром, не хитростью, не личным военным гением, хотя и был военным гением, а тем, что *«постиг дух народной гордости своих подчиненных»*.

Именно в постижении, в поддержке духа народной гордости Нахимов усматривал главную задачу офицеров. Как старших, так и младших. Свою собственную в первую очередь. У матроса, говорил он, следует воспитывать «запальчивый энтузиазм». Не ясно ль, что адмирал имел в виду активное мужество? Последнее немыслимо без «духа гордости». А этот последний опять-таки немыслим в человеке униженном и оскорбленном.

Все, указанное выше, обусловило в основном решительный, коренной пересмотр (без деклараций о пересмотре) отношения Павла Степановича к «нижним чинам». Однако было бы натяжкой идеалистического толка приписывать перемену одному лишь «душевному росту» Нахимова, одной лишь внутренней работе самоусовершенствования, начисто отрезанной от влияния внешних обстоятельств.

Оглядимся вокруг.

Идея освобождения крестьян носилась в воздухе. Рабство себя изжило. Даже Бенкендорф, шеф жандармов, назвал крепостное состояние пороховым погребом под государством. На каких условиях освобождать рабов, с какой «скоростью» освобождать — это уж другая статья.

Но то, что освобождать придется, сознавал и «первый дворянин империи», твердокаменный Николай Павлович.

Из уст в уста передавали цареву замечание: «Я не хочу умереть, не совершив двух дел: издания Свода законов и уничтожения крепостного права». Толковали и про некий секретный комитет, занятый крестьянским вопросом. (Комитет и вправду заседал, хотя потому лишь, что было на чем заседать.) Толковали и об указе, по которому помещики смогут отпускать мужиков в «обязанные» — давать им личную свободу и не давать наделов.

В 1847 году царь принял депутацию земляков Нахимова, смоленских дворян. Признавая дворянское «право» на землю, государь прибавил, что крестьянин при всем при том «не может считаться собственностью, а тем менее вещью».

Короче, вот какие веяния носились в воздухе. И конечно, доносились до офицерской среды. Лазарев, например, писал другу в Петербург:

«Обещание твое уведомлять иногда, что у вас предпринимается насчет мысли об освобождении крестьян, я приму с благодарностью»^[20]. Но из этого письма, из этих строк не усмотришь отношения автора к отмене крепостного права.

Ну, а Нахимов? Что же Павел Степанович?

Во-первых, Нахимов откровенно высказывался против крепостничества. А большинство нахимовских «одноклассников», большинство российского дворянства при одном намеке на освобождение подневольных земледельцев либо падало в обморок, либо впадало в ярость. И даже после Крымской войны, подписавшей рабству окончательный смертный приговор, сопротивление владельцев душ не ослабело, а, напротив, возгорелось пуще прежнего.

Во-вторых, высказывался Нахимов вовсе не ради кают-компанейского красноречия. Нет, он и в корабельной обыденности не глядел уже на «нижних чинов» как на бессловесный судовой инвентарь.

Вот это-то и легло в основу его отношений с матросами. Вот отсюда-то, конечно, и та редкостная, всеобщая любовь к нему, переходящая в обожание. Любовь, столь ярко озарившая Нахимова в трагические севастопольские дни.

«Матросы любят и понимают меня, — не без гордости сказав он однажды, — я этою привязанностью дорожу больше, чем отзывами каких-нибудь чванных дворянчиков-с».

4

Был мирный Севастополь.

Изю всех городов юга не знаю города лучше. В нем есть особенное сдержанное достоинство. Он пахнет нагретым инкерманским камнем, виноградной лозой, морской солью. Иногда здесь внятно веет не дальней степной пылью. В белизне стен — свежесть корабельной опрятности. Дневные летние ветры носят звон судовой рынды и пароходный дым, всегда волнующий. А летними ночами ветер течет с гор, звезды над Севастополем влажнеют... Изю всех городов нашего юга не знаю города лучше!

За полстолетие до Нахимова, увидевшего Севастополь в тридцатых годах, другой моряк появился у руин античного Херсонеса. Моряку этому не доставало гения Державина, чтобы сочинить оду, но достало ума, чтобы оценить увиденное. И вице-адмирал Клокачев отписал Адмиралтейству:

«При самом входе в Ахтиарскую гавань дивился я ее хорошему расположению, а вошедши и осмотревши, могу сказать, что по всей Европе нет подобной сей гавани положением, величиной и глубиной; можно иметь в ней флот до ста кораблей. Ко всему тому природа устроила такие лиманы, что сами по себе отделены на разные гавани. Без собственного обозрения нельзя поверить, чтобы так сия гавань была хороша. Ныне я принялся аккуратно гавань и положение ее мест описывать и, коль скоро кончу, немедленно пришлю карту. Ежели благоугодно будет ее императорскому величеству иметь в здешней гавани флот, то на подобном основании надобно будет завести, как в Кронштадте»^[21].

В том же 1783 году бухта, пока еще Ахтиарская, как и близлежащая татарская деревенька, укрыла на зиму первые русские корабли и первых русских поселенцев. А было их всего-навсего две тысячи шестьсот душ.

На берегах гавани, лучшей в Европе, родился город. Крестил его Потемкин: Севастополь, знаменитый, славный, достопочтенный город, или, точнее, величавый, царственный.

Облюбованный моряками, он моряками и выхаживался. Архитекторы носили мундиры и занимались делами первой необходимости: казенными строениями, пристанями, расчисткой дорог, водопроводом, выбором места под адмиралтейство.

Каждый камень был положен не каменщиками, а матросами. Они же сложили и парадный причал. Потемкин велел звать причал Екатерининским, в честь матушки-императрицы, а все стали звать его Графским, коль скоро шлюпка графа Войновича, местного флотского начальника, приваливала и отваливала именно здесь. И мысок неподалеку стали звать Павловским не в честь наследника, а в честь ушаковского корабля «Святой Павел».

Следом за моряками потянулись лавочники, содержатели трактиров, подрядчики, стряпухи — словом, всяческого рода «обыватели». И вот уж появились домики из ноздреватого инкерманского камня, чистенько выбеленные домики.

Идиллия? Нет, все двигалось с превеликой натугой. Вечно недоставало рук, материалов, припасов. Отдаленность, дурные дороги и отменное бездорожье, война с Турцией, эпидемии, скудость пресной воды и прочая, прочая, прочая окрашивали жизнь севастопольскую не в розовый цвет.

Даже адмирал Ушаков, человек поразительной энергии, трудом изыскивал возможности для портового и городского благоустройства. Да и времени у Федора Федоровича было в обрез — краткая, хлипкая зимушка. А зимой следовало в первую голову озаботиться ремонтом эскадры,

истрепанной в походах, изъеденной червоточцами.

Приходилось и воевать и созидать. Севастопольцы поспевали и ворочать корабельные пушки, и закладывать береговые фундаменты.

Уже на плане 1797 года можно рассмотреть Севастополь и его окрестности, которые застал Нахимов: хутора, сады, общественный сад в Ушаковой балке, Артиллерийскую и Корабельную слободки, Городскую сторону, довольно плотно застроенную... «Со стороны казны, — элегически резюмирует летописец города, — средств на это почти никаких потрачено не было».

Прижимистость казны, тороватой на всяческие дворцовые роскошества и фейерверки, тяжело сказалась не столько на благоустройстве, сколько на всей судьбе Севастополя.

Еще до рождения Нахимова, еще до того, как он поступил в корпус, главным командиром Черноморского флота был французский эмигрант маркиз де Траверсе.

Репутация у маркиза Жана-Франсуа, переименованного в Ивана Ивановича, плачевная. Его побивали камнями и современники и историки: превосходный царедворец и прескверный мореходец.

Маркиз этот довольно скоро усвоил очевидность: Александр Первый не чета Петру Первому. К морскому ведомству Благословенный питал, мягко выражаясь, неприязнь. Он был, пожалуй, самым континентальным из всех российских венценосцев. Вот это-то и учуял Иван Иванович, ибо, как говорил Бальзак, «у провансальцев ум живой». И, учуяв, почел за личное благо не докучать императору разными флотскими нуждами.

Однако на Черном море, в Севастополе, де Траверсе подвизался в первый год царствования Александра. Тогда маркиз, видимо, еще не был достаточно осведомлен о государевом презрении к военно-морским силам. Посему Иван Иванович всерьез подумывал о защите главной базы южного флота. Примечательно: не только водных к ней подступов, но и сухопутных. Он предлагал превратить прекрасный военный порт еще и в прекрасную крепость — «весь город обнести сплошными каменными верками с надлежащими рвами», то есть возвести как раз те фортификационные сооружения, отсутствие которых отозвалось впоследствии, уже в нахимовское время, гигантскими жертвами. Царь проект забраковал. На бумагах, присланных из Севастополя, означилось мертвенно-равнодушное: «Хранить до востребования».

Несколько позже, когда уж маркиз устроился в министерском кресле, Черноморским флотом командовал адмирал Грейг. В отличие от француза шотландец не был царедворцем, но, как и француз, не отличался военно-

административным даром. Черноморский флот и при нем влачил жалкое существование. Правда, это отчасти можно объяснить тем, что тогда перед черноморцами не стояли по-настоящему крупные стратегические или тактические задачи.

И все ж Грейг, подобно де Траверсе, достаточно пристально помышлял об укреплении Севастополя. Он тоже составлял планы и чертежи. Их постигла участь предыдущих — архивное погребение.

При Лазареве «верхи», наконец, осознали настоятельную необходимость озаботиться укреплением главной базы на Черном море. Как раз в тот год, когда Нахимов покинул Балтику, Петербург запросил Лазарева: по силам ли англичанам прорваться в Севастополь с моря?

Тревожились в столице не напрасно: кроме агентурных сведений о «некоторых намерениях», был уже и факт — поздней осенью 1829 года британский фрегат, не спрашивая разрешения, нахально сунулся в бухту^[22].

Лазарев не принадлежал к числу тех, кто пуще всего боится докучать высокому начальству. Он не пугал, но и не утешал. Ответил: Севастополь требует значительных, дорогостоящих сооружений. Больше того, адмирал не пощадил самолюбия Николая, заявив, что уж если англичане пожалуют, то, конечно, с флотом «гораздо нашего сильнейшим».

Ассигнования были отпущены. Не без проволочек, но отпущены. Работы начались. Они были циклопическими. Лазарев назвал их «достойными времен римских». Строилось отличное адмиралтейство. Возникали батареи для прикрытия подходов с моря. То были сооружения, о которых у Энгельса сказано, что они возводились «в соответствии с принципами, впервые провозглашенными Монталамбером^[23], — принципами, которые в более или менее измененном виде получили всеобщее признание и особенно широко используются при строительстве сооружений береговой обороны. Помимо Кронштадта, примером широкого их применения для этой цели могут служить Шербур и Севастополь. Для этих сооружений характерны два-три яруса орудий, расположенных один над другим, причем орудия нижнего яруса установлены в казематах — а именно, в небольших сводчатых помещениях, в которых орудия и прислуга укрыты от огня противника самым надежным образом».

Лазарев, несомненно, трудился для Севастополя и много, и толково, и рачительно. Однако при самом внимательном рассмотрении увесистого тома лазаревских служебных документов не обнаруживаешь замыслов, схожих с планами де Траверсе. Лазарев озабочен укреплением Севастопольского порта, укреплением города лишь со стороны моря.

Правда, он предлагает установить на окрестных высотах полевые орудия. Для чего? Главным образом для того, чтобы они вступили в дело, если будут подавлены двух-и трехъярусные портовые батареи. Возможность десанта противника не отвергается адмиралом вчистую. Но десант не слишком-то беспокоит его: с неприятелем, утверждает Михаил Петрович, управятся армейцы, те, что присланы для строительных работ.

Стало быть, Лазарев думал только о морской обороне базы. В сущности, он даже отдаленно не предполагал, что ее в основном придется отстаивать на суше...

А пока был мирный Севастополь.

Еще посылал свой указующий свет проблесковый Херсонесский маяк, приветно горели инкерманские маячные огни, по створу которых шел Нахимов, возвращаясь на рейд.

Он возвращался и утрами, когда брызжет солнце на заспанный белехонький город и не шелохнут тополя у дороги на Балаклаву. Возвращался и на вечерних зб́рях, когда горы подернуты сиреневым, сизым, палевым.

К Графской пристани приваливал вельбот, от портика с колоннадой веяло празднично. Площадь с фонтаном возвращала походке ровность, отнятую палубой. Ведренными вечерами на площади играла полковая музыка, и тут уж только поспевай отдавать поклоны, отвечать на улыбки и приветствия, замечая, как расцвела барышня N и как похорошела госпожа NN.

Вот картинка тогдашнего Севастополя. Она передает его дух, общее настроение. «Роскошная южная ночь с приятным береговым ветерком, фосфорический блеск от снующих постоянно шлюпок, два хора музыки и оживленный говор молодых моряков с лицами прекрасного пола придавали этому муравейнику чарующую прелесть. В то время Севастополь жил в полном обаянии морского увлечения. Вход эскадры с моря собирал все общество на малом бульваре. Это была оживленная, великолепная картина, возбуждавшая особенно напряженное внимание женского пола. Корабли и фрегаты, в последовательном порядке, один за другим, под всеми парусами неслись на рейд; каждое судно, подходя к определенному месту, чтобы стать на якорь, мгновенно сбрасывало лисели, а потом все паруса и шлюпки; в четверть часа все убрано, уложено, реи выправлены, шлюпки у выстрелов, трапы спущены... Пристрастная любовь к морю и морскому освоению была привита не только семьям моряков, но этим поветрием были заражены и прочие обыватели».

Было приятно пройти по Екатерининской, лучшей в городе, видеть

домашние огни, слышать детский смех, говор, звяканье посуды, несмелое или бойкое музицирование, запах кондитерских и кофеен.

Он знал дома и улицы этого города, слободки и балки, знал множество людей в этом городе, и весь город знал сутуловатого, с рыжиной адмирала, чуждого и намека на спесь, всегда готового раскрыть кошелек для какого-нибудь отставного боцмана, для какой-нибудь матроски в низко, до выгоревших бровей, повязанном платке или сопливого сорванца в перешитой и залатанной отцовской одежде.

Он любил Севастополь молчаливой любовью. И быть может, не сознавал всю степень этой любви, пока небо над Севастополем не стало аспидным.

Нахимов жил на берегу, близ Графской пристани, жил там обычно с поздней осени до ранней весны. Из окон виднелся рейд. На подоконнике лежала подзорная труба; шагреновая обшивка хранила тепло его ладоней. Квартира была опрятная, не заставленная мебелью: Павел Степанович, как многие одинокие люди, как многие корабельные люди, привык расхаживать из угла в угол. Он жил, замечает современник, «со скромностью древнего философа».

Его, бывало, встретишь и в доме Лазарева, и за ужином с Корниловым, на именинах сослуживца или на крестинах у подчиненного, всюду был он желанным и званным^[24]. Но если вы хотели повидать Нахимова и не заставляли его на квартире, в экипажах флотской дивизии, у товарищей, то уж непременно обнаруживали в том красивом здании, куда вела широкая лестница с двумя сфинксами спокойно-внушительными, как в Петербурге, напротив Академии художеств.

Вы подходили к ограде и отворяли тяжелую калитку. В саду теснились акации; желтели дорожки, обложенные по краям крупной галькой. Перед вами белел фасад и эта вот пологая каменная лестница с двумя сфинксами. В прихожей вы отдавали фуражку и пальто старику швейцару.

Потом опять лестница; но уже не местного камня, а мраморная, кажется даже каррарского мрамора, роскошная лестница с надраенными бронзовыми поручнями, И наконец, вы оказывались в Палладиуме Севастополя, как благоговейно выражался Владимир Алексеевич Корнилов.

В просторных светлых комнатах мерцало красное дерево. На английских гравюрах безмолвно кипело море, грозно круглился пушечный дым. Чучела морских птиц тускло поблескивали разноцветными пуговичными глазами. Громадная модель линейного корабля отбрасывала тень на лощеный паркет. Отлично исполненные географические карты,

подвешенные на тонких штертах, плавно опускались и поднимались (для удобства зрителя) на деревянных блоках. В ненастье солидный камин полнил теплом и бликами читальню с ее глубокими креслами и двумя длинными столами — на одном вас ждали иностранные и русские газеты, на другом — журналы.

Но главное — тут было множество высоких, тяжелых, прекрасной полировки шкафов — шкафов с сотнями книг, тысячами книг, десятками тысяч книг.

Морская библиотека — гордость севастопольцев — составлялась годами, без участия казны, на dobroхотные взносы. Ей служили как общественному делу, и она считалась общественным достоянием. Там сходились не ради хереса и не ради «кокеток записных», а повинувшись духовному, нравственному родству. Когда в Морской библиотеке случился пожар, его бросились тушить, как тушат судовое гибельное пламя. Когда после пожара вице-адмирал Корнилов приехал в Петербург, он не почел зазорным буквально выпрашивать деньги, чтобы пособить черноморцам в их «общественном бедствии».

Нахимов, как и Корнилов, был выборным директором Морской библиотеки. Библиотека была Павлу Степановичу заветным местом, которому отдаешь не досужий, скучливый часок, но пристальное внимание, любовную заботу.

Находились спесивые или попросту глупые люди, видевшие в Нахимове обыкновенного боцмана с адмиральскими эполетами. Ничто так не рушит это кургузое мнение, как отношение Павла Степановича к книжным богатствам, его упорное стремление заморозить «Черноморов» чтением специальной литературы.

Он был совершенно согласен с Корниловым в том, что именно они, адмиралы, обязаны думать «об этой молодежи, брошенной сюда за тысячи верст от своих родных и знакомых и которая, не имея книг, поневоле обратится к картам и другим несчастным занятиям».

Да, если б вам захотелось повидать Павла Степановича и вы не нашли бы его ни дома, ни у друзей, то непременно увидели бы в Морской библиотеке, где дышал камин и шелестели страницы.

А в другое, тоже очень известное, изящное и примечательное здание тогдашнего Севастополя можно было бы и не заглядывать — в Дворянское собрание.

Там были и огромная танцевальная зала, и бильярдная, и хорошо содержавшийся буфет, и вышколенная прислуга, умевшая потрафлять господам. Однако Павел Степанович, уже будучи в чинах адмиральских, по-

прежнему чуждался бального шума, кутежей, зеленого сукна ломберных и бильярдных столов.

Но едва началась осада Севастополя, как Нахимов стал навещать в Дворянское собрание чуть ли не каждодневно.

Глава третья

«Во все это время около входа в Собрание на улице, где так нередко падали ракеты, взрывая землю, и лопались бомбы, стояла всегда транспортная рота солдат под командою деятельного и распорядительного подпоручика Яни; койки и окровавленные носилки были в готовности принять раненых... Огромная танцевальная зала беспрестанно наполнялась и опоражнивалась; приносимые раненые складывались вместе с носилками целыми рядами на паркетном полу, пропитанном на целые полвершка запекшеюся кровью; стоны и крики страдальцев, последние вздохи умирающих, приказания распоряджающихся громко раздавались в зале. Врачи, фельдшера и служители составляли группы, беспрестанно двигавшиеся между рядами раненых, лежавших с оторванными, раздробленными членами, бледных как полотно от потери крови и от сотрясений, производимых громадными снарядами; между солдатскими шинелями мелькали везде белые капюшоны сестер, разносивших вино и чай, помогавших при перевязке и отбиравших на сохранение деньги и вещи страдальцев».

«Двери залы ежеминутно отворялись и затворялись; вносили и выносили по команде: „На стол“, „На койку“, „В дом Гущина“, „В Инженерный“, „В Николаевскую“. В боковой довольно обширной комнате (операционной) на трех столах кровь лилась при производстве операций; матрос Пашкевич — живой турникет Дворянского собрания (отличавшийся искусством прижимать артерии при ампутациях) — едва успевал следовать призыву врачей, переходя от одного стола к другому; с неподвижным лицом, молча, он исполнял в точности данные ему приказания, зная, что неутомимой руке его поручалась жизнь собрата».

«Ночью, при свете стеарина, те же кровавые сцены, и нередко еще в бóльших размерах, представлялись в зале Дворянского собрания... Чтобы иметь понятие о всех трудностях этого положения, нужно себе живо представить темную южную ночь, ряды носильщиков при тусклом свете фонарей, направленных к входу Собрания и едва прокладывающих себе путь сквозь толпы раненых пешеходов, сомкнувшихся в дверях его. Все стремятся за помощью и на помощь, каждый хочет скорого пособия, раненый громко требует перевязки или операции, умирающий — последнего отдыха, все — облегчения страданий».

Это строки официального отчета знаменитейшего хирурга. Там же, как

и в частных его письмах из Севастополя, упоминается Павел Степанович: «Видаюсь нередко и с Нахимовым»; «Здесь все... говорят о нем, как он того заслуживает — с уважением»; «Нахимов прислал мне из библиотеки много разных книг». И уже после гибели адмирала: «незабвенный Нахимов».

До войны они не были знакомы. Познакомились в осажденном Севастополе. Сближение члена-корреспондента Академии наук Николая Ивановича Пирогова с вице-адмиралом Павлом Степановичем Нахимовым диктовалось общими заботами. Но, пожалуй, не только этим.

В нравственном облике ученого и в нравственном облике флотоводца нетрудно заметить родство: глубокая, беспокойная любовь к отчизне и «брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму»; самозабвенная преданность делу; честность, запрещающая угождать и приятничать; простота в обиходе и в обращении с младшими (не возрастом лишь, но и положением); наконец, негромкое, повседневное геройство.

Но война не давала Нахимову и Пирогову долгих свиданий. Они чаще всего встречались там, где жестокость войны обнаруживалась с грубой, беспощадной наготовою.

Нахимов посещал севастопольские госпитали, потому что они как бы продолжали и завершали то дело, которое изо дня в день, из ночи в ночь делалось на бастионах. Все эти искалеченные и умирающие люди были Нахимову товарищами, соратниками. Он приходил к ним, чтобы сказать доброе тихое слово, прощально пожать слабеющую руку.

Среди тех, кто был повержен, обезображен, исковеркан огнем и железом, среди тех, кому теперь ничего не оставалось, кроме братской ямины на Северной стороне или жалких подаяний на бесконечных дорогах России, — среди них Нахимов видел и матросов, участников морского сражения. Того, что произошло незадолго до осады Севастополя...

Конец военных катастроф возникает среди пушечного пламени. Начало военных катастроф возникает при свечах дипломатических канцелярий.

Давний спор из-за «восточного вопроса» походил на тайный огонь торфяных болот. А дымом стлалось краснбайство: положение христианского меньшинства в мусульманской Турции, ключи ко гробу господню в Иерусалиме, подвластном султану, и т. п.

Речь шла совсем о других ключах, о ключах к «собственному дому», как говорили в Санкт-Петербурге: о Босфоре и Дарданеллах, этой узкой и короткой дороге в Черное море, из Черного моря.

Ни Англия, ни Франция не испытывали ни малейшего желания вручить пресловутые ключи России. Турция — тем паче. Ни Англия, ни Франция, ни Россия не были правы в Крымской войне. В Крымской войне были виноваты Россия, Англия, Франция. Понятно, не английский углекоп и не французский ткач, не русский пахарь и не турецкий бедняк. Они войны не ждали и не жаждали. Они лишь (!!!) оплатили ее счета собственной кровью.

Николай Первый был не только уверен в мощи своих вооруженных сил, но и в мощи своего полководческого дара. Ведь он поражал прихлебателей памятью: номера дивизий, названия полков, фамилии офицеров. Он, самодержец, склонялся над картами. И представьте, не одними генеральными, но и топографическими. Он подолгу и вдумчиво рассматривал макеты крепостей. Чего же боле? Ну разве не полководец? Его уверенность истово и радостно крепила толпа, стоящая у трона. О таких «оптимистах» и говорил Лесков, что они «прыгали, чиликали, насакивали, и никому в голову не приходило посмотреть, не реет ли где поверху ястреб, а только бойчились и чирикали: „Мы еще повоюем, черт возьми!“ Воевать тогда многим ужасно хотелось. Начитанные люди с патриотической гордостью повторяли фразу, что „Россия — государство военное“.»

Чем ближе была война, тем громче грохотали барабаны похвальбы. Мне встретился лишь один случай официальной остроты, данной «оптимистам». Да и та исходила не от царя, а от его сына Константина, генерал-адмирала, шефа флота, человека весьма и весьма неглупого. Вот уникальный циркуляр, следовавший как-то от министра просвещения для сведения и руководства цензуры:

«В одной рукописи, предназначавшейся к напечатанию, оказались, между прочим, рассуждения о предполагаемых действиях русского флота... Рассуждения эти имели патриотический характер, но состояли, большею частью, из предсказаний нашему флоту и его августейшему начальнику блистательных успехов... Вследствие изъявленного его императорским высочеством государем великим князем Константином Николаевичем желанием, покорнейше прошу ваше превосходительство предложить по цензуре вверенного вам, милостивый государь, округа, чтобы впредь были отклоняемы похвалы будущим, т. е. не состоявшимся еще, действиям нашего флота, и положительно не допускались похвалы и

одобрения действиям и намерениям его императорского высочества».

Конечно, находились трезвые головы, патриоты не из патоки. Они видели неподготовленность России к войне, видели, что парадность и гладкопись — фиговый лист.

Однажды некий генерал похвалил офицера за то, что его кобыла хорошо держит строй. Офицер выразительно глянул на генерала: «Действительно, ваше превосходительство, наша репутация зависит от скотов!» Другой офицер отмечал негодность стрелкового оружия! «После первого залпа 1/8 часть пуль оставалась в дулах ружей, потому что многие курки не спускались, другие — не взводились, на полках не было стали...» — и далее перечислил множество всяческих неисправностей, гибельных в бою. Третий офицер подал начальству записку о грабительстве интендантства, безобразном состоянии «семьи» армейских офицеров, противоречивых приказах командования. Четвертый, уже флотский, беседуя со штатским, восхитившимся парусной эскадрой, печально сказал: «Это ничего не значит, все-таки у нас флота нет. Эти корабли не годятся для дела, потому что они не винтовые».

Слова, приведенные выше, произнес Ф. М. Новосильский, сослуживец Нахимова. Правда, разговор со штатским петербуржцем происходил после ужасных уроков Крымской войны, но мысль о настоящей необходимости парового и винтового флота владела зоркими моряками еще до войны.

Нахимов был из числа зорких. Конечно, лейтенантом, в Архангельске, наблюдая неуклюжие, будто в подпитии, маневры только что испеченного пароходика, налетевшего в конце концов на баржу, Нахимов мог насмешливо усмехнуться. Конечно, Завалишин мог слышать от молодого Нахимова презрительное: «Самовар!», брошенное в сторону увальня с высокой трубой. И конечно, летящая белокрылая эскадра доставляла Нахимову не только профессиональное, но еще и эстетическое удовольствие. Парусный корабль издревле был воплощенной красотой; пароход еще не успел стать ею. Однако Нахимов, как и Корнилов (последний, кажется, в еще большей степени), понимал, что прогресс не щадит сердечных склонностей.

Корнилов и Нахимов не явились словно *deus ex machina*; существовала такая штука у древних: бог из машины, который опускался на сцену и разрешал все сложности, посильные божеству и непосильные человеку.

Из ничего не возникает нечто. Западные морские державы, обзаводясь новым флотом, естественно, понуждали своих моряков размышлять на сей счет. Понуждали испытывать, пробовать, искать и находить способы,

приемы, правила использования паровых боевых судов. И нет ничего зазорного в том, что русские моряки внимательно приглядывались к своим западным коллегам.

Некоторые соотечественники Корнилова и Нахимова поняли значение пара для военно-морской практики задолго до Владимира Алексеевича и Павла Степановича.

Николай Бестужев, будущий известный декабрист, набросал свою записку о паромоходах еще в те годы, когда Нахимов носил кадетскую куртку. Бестужев воспроизвел свою беседу с каким-то французом. Они вместе шлепали на первом в России пироскафе из Петербурга в Кронштадт. После общих замечаний о приятностях подобного рода транспорта, об его коммерческой выгоде, Бестужев записал: «...Приступлю к предмету важнейшему, выполнение которого... зависит от времени и от внимания правительства. Я хочу говорить о морской войне и о способах, каковые могут дать во время оной паромоходы». И далее — о преимуществах в бою парового двигателя.

Примерно в ту же пору другой морской офицер, старше Бестужева и возрастом и чином, Петр Рикорд, выступил в журнале «Сын отечества» с уверенным предсказанием блестящей будущности паровой машины, поставленной на судно.

Но все это были, так сказать, общие рассуждения. А вот уж в то время, когда Нахимова произвели в контр-адмиралы, другой журнал — орган морского ведомства — поместил «Опыт изложения некоторых начал паромоходной тактики». Статью перевели с французского; написал ее капитан флота Л. дю Парк.

Дю Парк рассмотрел множество практических вопросов: как паровому судну сниматься с якоря и как становиться на якорь; как входить в порт и выходить из порта; как поступать, угодив на мель, и что предпринимать при взрыве котлов... Второй раздел дю Парк озаглавил: «Употребление паромоходов в военных действиях». Тут уж он трактует о погонях и буксировках, о месте паромоходов в боевом порядке эскадры, абордажах, конвоях, паромоходных сражениях и т. д.

«Опыт», напечатанный в «Записках гидрографического департамента морского министерства», несомненно прочитали внимательно и памятно многие ревностные завсегдатаи севастопольской офицерской библиотеки. Кстати сказать, в ее фондах, кроме географических и исторических сочинений, была и английская техническая периодика, ценность которой Корнилов усматривал как раз в том, что она освещала «паромоходный вопрос».

Вопрос этот Корнилов изучал не только книжно, но и на месте: он ездил в Англию, где «приступил к обозрению всего, что относится до пароходства». В Англии были заказаны для Черноморского флота и первые пароходо-фрегаты, между ними и «Владимир», отличившийся в бою с «Перваз Бахри». Почерпнув немало полезного в Англии, Корнилов посетил еще верфи и порты Франции.

Нахимов за границу не ездил. Но пароходо-фрегаты находились в составе его дивизии. На море, в десантных и крейсерских операциях Павел Степанович настойчиво «отрабатывал» действия и взаимодействия паровых судов. «Без пароходов как без рук». И все ж пальму первенства отдавал он парусам. Очевидно, не от избытка преданности старине, а из-за явной недостачи новины.

Покамест на черноморских рейдах, под черноморским небом начинали дымить пароходо-фрегаты, передвигавшиеся с помощью колес, на Западе приступили к постройке винтовых линкоров и фрегатов.

Может быть, Корнилов, кто-то еще из русских очень скоро приметили революцию, произведенную винтовым двигателем. Однако в царской России перекрестились, когда гром грянул: лишь летом восьмисот пятьдесят третьего года «его величеству угодно было объявить», чтобы на стапелях отныне закладывались лишь винтовые суда. Объявить-то объявил, но над упущенным временем никто не властен, и русский флот начал войну, как флот не винтовой да, в сущности, и не паровой.

Итак, ни Корнилов, ни Нахимов не явились богами из машины. Они явились поборниками машины. Не новаторами, а радетелями новаторства. Оба сумели подчинить разуму свою сердечную, вошедшую в плоть и кровь привязанность к парусному флоту. Неизбежность перемен не каждый может понять и принять. А поняв и приняв, не каждый найдет в себе силы встать за них горюю.

Огнедышащий, пачкающий небо и палубу механизм рождал в душе многих военных моряков (чаще из тех, что поседели и сгорбились под сенью парусов) враждебные или, в лучшем случае, насмешливые чувства, подобные тем, какие впоследствии испытывали записные уланы или драгуны к автомобилистам.

Корнилов и Нахимов ломали близорукую враждебность «морской семьи» к морской новине. Именно в этой борьбе за нарождающийся русский паровой флот, в борьбе за его необходимость и состояла главная заслуга обоих адмиралов.

Теперь воротимся к тому, с чего начали: к общему состоянию военной мощи государства. Так вот, беда армия и флота была не в том, что Россия

оскудела умными военными людьми, но в том, что таковых почитали «умниками». А коренное зло залегало гораздо глубже: общая отсталость страны.

У царя Николая бывали минуты тревог и опасений. Но лишь минуты. А вообще-то он был убежден, что создал первоклассную и безотказную военную «систему». Эта уверенность соседствовала с убежденностью, что ни Англия, ни Франция не поднимут на него руку. Как! Да ведь он уж четверть века самый неограниченный и самый неколебимый правитель в Европе!.. Тут уж сказывалось не просто военное дарование, нет — ум государственный. Николай признавал в себе ум государственный. И никто из его окружения, спаси и помилуй, не оспаривал этой истины.

Пропасть разверзлась под стенами осажденного Севастополя. А до того, летом восемьсот пятьдесят третьего года, императорская армия оккупирует Молдавию и Валахию. В том же году императорский флот, продолжая держать на мушке коммуникации Турция — Кавказ, помог нарастить мощь Отдельного Кавказского корпуса: предполагалось, что именно на Кавказе султан предпримет наступление, на тамошней границе концентрировалась Восточно-Анатолийская армия.

Операцию спланировал вице-адмирал Корнилов (после смерти Лазарева в 1851 году Владимир Алексеевич фактически возглавлял Черноморский флот), выполнил он же совместно с вице-адмиралом Нахимовым.

Трудности достались крутые: осенние равноденственные бури; необорудованность кавказской береговой полосы; возможность столкновения с неприятельским флотом или даже флотами, если бы англичане и французы оставили за кормой Босфор; огромность десанта — шестнадцать тысяч с лишним штыков, почти тысяча лошадей, артиллерия и обозы, госпитали и снаряжение.

Выручила выучка. Эскадра несла не только армейскую живую силу, не только материальную часть, но и то, что было добыто годами будничного труда — сноровку, опыт, мастерство. И они выказались внушительно и зримо осенью пятьдесят третьего года близ побережья Кавказа, где валяла корабли крупная зыбь, а потом цепенел полный штиль.

Нельзя не согласиться с очень сведущим морским историком А. П. Соколовым: «Всякий, хоть сколько-нибудь знакомый с делом, поймет и оценит по достоинству этот прекрасный подвиг наших моряков, это торжество морского искусства, свидетельствующее распорядительность, подчиненность, рвение, силу и мужество, дающее верное ручательство за будущие успехи в так называемых действительных делах, в сущности

столько же действительных, как и настоящий подвиг, по совести говоря, стоящий доброй победы!»

И все же восемьсот пятьдесят третий год не остался бы столь памятным, когда б не Синоп.

Переброска 13-й дивизии на Кавказ озадачила и огорчила турецкое командование. Однако оно не отказалось от подготовки к военным действиям и обнадеживало храбрых горцев скорой и значительной подмогой.

Подмогу (как и русскую — русским) способнее всего было переправлять морем, ибо Турецкая империя страдала еще горшим бездорожьем, нежели империя Российская.

Но в Черном море из-за таких вот, как Корнилов и Нахимов, Новосильский и Серебряков, было тесно; они там разгуливали, как во дворе собственного дома.

Прижимаясь к анатолийскому берегу, смельчаки контрабандисты водили одномачтовые кочермы, груженные свинцом, порохом, оружием. И все же такое «одномачтовое снабжение» походило на мелководный ручеек. А если воевать так воевать — необходим поток крупных перевозок.

В восемьсот пятьдесят третьем году турецкие моряки ободрились: английская и французская эскадры вспенили проливы. В водах великолепного Босфора отражались теперь не только минареты и фелуки, но и флаги двух мощных морских держав. Конечно, надежда на чужаков всегда утлая надежда, да ведь известно, что утопающий и за змею хватается. К тому ж союзники, особенно англичане, непрестанно уверяли в пылких симпатиях к несчастному султану, в горячей охоте оказать ему бескорыстную поддержку.

Чего ж мешкать? Надо прорваться к Кавказу! Вы слышите, Осман-паша? Старый вице-адмирал, четыре десятка лет отслуживший на море, слышит, хорошо слышит. Правда, не памятью только, нет, всей своей шкурой он помнит раскатистый гром над греческой бухтой. Но со времен наваринской беды минуло четверть века. Тогда англичане и французы были недругами. Теперь они союзники. Тогда турок бил английский адмирал Кодрингтон. Теперь у турок в друзьях контр-адмирал Мушавер-паша, он же Адольф Слейд, земляк Кодрингтона. Осман-паша старше Слейда, старше и чином и должностью, но как покойно на душе от одного лишь присутствия

этого советника, сына гордой владычицы морей. К тому ж Мушавер-паша знаком с состоянием вражеского флота: побывал в русских черноморских портах, проник — такой молодец, такой ловкач! — в главное логовище Северного Медведя — в Севастополь. Конечно, Мушавер-паша всего лишь контр-адмирал. Но ведь он еще и капитан флота ее величества. И за ним, за его спиною, — союзные эскадры. Союзные эскадры в Босфоре, союзные эскадры у дверей Черного моря — вот гарантия успеха! Наварин не повторится. Многие переменялись под луною за четверть века... Надо прорваться к Кавказу. Надо подать помощь Шамилю, которому султан, говорят, сулит звание генералиссимуса. Так вот, Осман-паша прибывает к кавказским берегам в двадцатых числах ноября. И пусть-ка горцы готовят кочермы, эти удобные посудины для выгрузки с кораблей громоздких припасов.

Пароходный отряд (несокрушимый, доблестный Слейд был там) первым выскочил в море. Следом двинулась эскадра Осман-паши и второго флагмана — Гуссейн-паши.

В трехстах милях от Константинополя, на анатолийском берегу, лежал Синоп.

В начале ноября 1853 года турецкий флагман расположился в тамошней бухте, почти визави бухте Феодосийской.

Что ж такое Синоп?

Прежде всего якорная стоянка на пять с плюсом: защищенная от недобрых северных ветров гористым полуостровом; значительная размером и глубинами; снабженная молом и верфями; прикрытая береговыми батареями.

Древний Синоп превосходил некогда современный Нахимову Севастополь: в канун Крымской войны Севастополь населяли сорок пять — сорок шесть тысяч душ, а в античном Синопе обитало более пятидесяти тысяч, если не все шестьдесят. Потом жизнь убыла, как убывают вешние воды, город словно бы пересох, как пересыхают старицы. Осталось тысяч десять-двенадцать; большинство — турки, меньшинство — греки.

Кровавая борьба за кавказское побережье пришла к Синопу по вкусу. Синоп хмелел от деятельности, как от фляги с запретным вином. На верфях спозаранку стучали топоры — строились кочермы, чинились константинопольские гости. Лесоторговцы потирали руки. В кофейнях, полных самсунского табачного дыма, звенели пиастрами удачливые контрабандисты. Фонтаны веяли радужной пылью на дома, где укрылись европейские консулы и всяческие слейды — английские и французские «дядьки» при турецких вооруженных силах. А на выжженной солнцем

площади шумел невольничий рынок: раскошеливайся, выбирай наложницу: хочешь — черкешенку с очами как полуночные звезды, а хочешь — славянку пригожую, как светлое утро.

Вряд ли, впрочем, Осман-паша предавался любовным излишествам. Надо идти дальше — к востоку.

На другом, северном, берегу Черного моря другой вице-адмирал, тоже помнивший Наварин, постиг стратегическое значение города, откуда на Русь некогда явился проповедник Андрей Первозванный: Синоп — перевалочный пункт, транзитный порт, опорная база.

И, сознавая все это, а сверх того изведав опытом дьявольскую трудность крейсерства в осенне-зимний сезон, Корнилов предлагал: «... Надлежит придумать средство мешать навигации турок каким-нибудь другим способом; этот способ натурально должен состоять в занятии как на европейском, так и на азиатских берегах рейдов, на коих отряды военных судов, имея при себе сильные пароходы, могли бы в безопасности учредить свои наблюдательные посты. Такие пункты суть Сизополь^[25] и Синоп: и тот и другой на пути подвозов тех частей Турции, в коих откроются военные действия; и тот и другой одинаково удобны к удержанию малыми силами от покушений с сухого пути; и тот и другой одинаково способны вместить на зиму флоты и гораздо больше отрядов, потребных для наблюдения за движениями турецких военных судов... Я бы полагал начать с Синопа: он и ближе от Севастополя и в связи с затеями турок, а потому можно, готовя экспедицию в Батум, попасть в Синоп неожиданно».

Какова решительность! Лазарев, радуясь во гробе: ученик мыслит энергически. Но светлейший князь Меншиков — потомок известного Данилыча, начальник Главного морского штаба империи — мыслит с оглядкой. С оглядкой на Петербург, на государя, на министров военного и иностранных дел. Последний особенно затруднял Меншикова туманными рассуждениями. Туманность их диктовалась дипломатическими извивами, неопределенностью положения.

Словом, светлейший не согласился на внезапное занятие Синопа, а предпочел испытанный крейсерский вариант борьбы на коммуникациях. Однако и тут опять-таки сказалась решительность корниловской натуры. Князь, определяя район дозорной службы, называл центр, средину Черного моря, а Владимир Алексеевич хотел двинуть корабли ближе к Турции, к ее

южному анатолийскому берегу, то есть, в сущности, все к тому же вожделенному Синопу. Меншиков уступил. Не Корнилов его убедил, а разведывательные данные о подготовке похода турецкой эскадры на Кавказ. Исполнителем приказа Мешникова и планов Корнилова назначили Нахимова.

Павлу Степановичу вменялось в обязанность держать тщательное наблюдение за сорокамильным отрезком между портом Амастро (на западе) и мысом Керемпе (на востоке); здесь, в самой узкой части Черного моря, находясь в почти равной, 150-мильной удаленности как от Константинополя, так и от Севастополя, Нахимов принял тяжкую вахту: его корабли оставили Крым на рассвете 11 октября; стало быть, за месяц до того, как Осман-паша оставил столицу Турции.

Русский флагман издал приказ № 145: «При встрече с турецкими военными судами первый неприязненный выстрел должен быть со стороны турок, но то судно или суда, которые на это покусятся, должны быть немедленно уничтожены. В заключение я должен сказать, что, имея таковой отряд под командой, мне ничего не остается более желать, как скорейшего разрыва со стороны России с Турцией, и тогда я убежден, что каждый из нас исполнит свое дело».

На третий день похода эскадра была близ отрубистого мыса; за мысом крылся вход в порт Амастро. Отсюда началось движение вдоль анатолийского берега, изрезанного бухтами и бухточками, всхолмленного и гористого, ущелистого, со множеством неглубоких речных устьев. Отсюда начались поиски неприятеля, на стороне которого были штормы и туманы, хотя и обычные об эту пору, но особенно гневные и густые именно в районе Амастро — Керемпе.

Как отмечено в документах, эскадру снарядили по нормам военного времени. Но, как случалось нередко, не все доделали до конца. Об этом свидетельствует современник. Его свидетельство добавляет еще один штрих к облику Нахимова.

«Крейсерство это было в холодную и бурную осень, — рассказывает в своем дневнике лейтенант Ухтомский. — Нахимов несколько раз требовал для матросов своей эскадры фланелевых рубашек; но их почему-то не отпускали; тогда Нахимов сказал решительно, что он до тех пор не наденет на себя пальто, пока матросам не пришлют теплого платья, и сдержал свое слово, несмотря на то, что в то время здоровье его было расстроено»^[26].

Надо было обладать громадной волей и тем повышенным чувством служебного долга, какими обладал Нахимов, чтобы не только крейсировать, борясь со стихией, но и вопреки стихии «развлекать» команды

непрестанными учениями.

Нахимов и на сей раз не изменял своему методу повышения боевой готовности. При этом Павел Степанович одолевал естественное (впрочем, молчаливое) недовольство подчиненных.

Мичман Обезьянинов и сорок лет спустя помнил: «Все это утомляло только и сильно стало надоедать». Среди прочих, столь приевшихся учений бывали и ружейные, Мичман отмечает: «В то время корабельные команда наша вооружены были чуть ли не кремневыми ружьями, пистонные еще только вводились»^[27].

Нахимов, несомненно, обладал тем запасом воли, которая одна только позволяет не уступать ни часу и ни шагу в однообразной и впрямь мучительной (при всей ее неизбежности и необходимости) боевой подготовке. Прибавьте, что адмиралу не разрешалось нападать, а разрешалось лишь наблюдать. Не у моря, а на море приходилось ждать «погоды».

Павел Степанович, конечно, испытывал такое же желание сразиться, как и его подчиненные. А тут еще и Корнилов прислал многозначительную весточку: чем черт не шутит, может, и доведется «свалить дело в роде Наваринского»! К тому же турки частенько как бы дразнили неприятеля.

Нахимов должен был останавливать и осматривать султанские суда. Буде обнаружится военный груз — конфисковать. Коль скоро русские не стреляли, турки не проявляли охоты подвергаться обыску. Наглость? А почему бы и не попытки — вполне понятные — поскорее исполнить свои обязанности? Один из таких «наглецов» задумал проскочить под носом эскадры. По нему пальнули пять раз кряду. Нарушение дисциплины? Ах ты, господи, да тут у кого ж терпение-то не лопнет!

Но вот 26 октября посыльный корвет прилетает к Нахимову с давно жданным, он, Нахимов, волен «брать и разрушать» султанские корабли. Кажется, чего лучше? Гляди в оба, не зевай. Однако именно в эти дни эскадра Осман-паши и Гуссейн-паши прошла из Константинополя в Синоп! Да, да, в те дни она и скользнула, не обнаруженная, незамеченная. Прошла в Синоп к непоправимому своему несчастью, это так, верно, но на море осталась незамеченной — это тоже так.

Несколько суток спустя после встречи с посыльным корветом Нахимов уже держал в руках документ чрезвычайной важности: официальный манифест о войне. Свершилось! Черным по белому, с упоминанием божьего имени повелевалось приступить к самому небожескому, что случается на землях и водах, — к убийству массовому, холодно и расчетливо продуманному, награждаемому крестами как могильными, так и нагрудными.

Негодует на это только мать-природа. То навзрыд, то трубно ревет шквалистый ветер; мечется, гремит, пенится шторм. Два дня они мешают адмиралу разослать по кораблям бряцающий, звенящий, высочайший, августейший царский манифест.

Нахимов присовокупляет к манифесту приказы. Приказы дышат спокойной силой. «Уведомляю гг. командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело».

И это доверие признательно оценили подчиненные. «Адмирал отлично понимал, — говорит современник-морьяк, — что успех действий с парусами в открытом море зависит от начальника только до первого выстрела. С этой же минуты начальник должен в полной мере положиться на личные способности и опытность командиров, предоставляя себе лишь лестное право кинуться первым в бой. Если адмирал в течение крейсерства сумел приучить экипажи управлению кораблями, если он развил в командирах соображение, дал им возможность постичь качества своих судов, вселил в них уверенность, которая не может существовать без чувства собственного достоинства, тогда, подобно Нельсону под Трафальгаром, он может закрыть сигнальные книги».

И манифест, и приказы, и словесные наставления, и боевое снаряжение, и желание боя — все есть. Нет только неприятеля. А командующий, да и каждый на его эскадре знают (на то и существуют посыльные, курьерские фрегаты), что противник ушел из Константинополя, что он двинулся на Кавказ, что он где-то здесь, неподалеку. Знают — и не видят врага.

Вестником его близости задымил однажды транспорт «Меджари-Теджарет». За ним погналась «Бессарабия». Русские схитрили. «Бессарабия» была пароходо-фрегатом, то есть могла двигаться и силою пара и силою ветра. Она поставила паруса, замаскировав трубу и кожуха над колесами. Турки, усмотрев позади всего лишь парусного ходока, не струхнули, а уж когда заметили маскировку и поняли, что обманулись, было поздно. Тут-то и приключился один из тех казусов, какие имел в виду Энгельс, саркастически отмечая, что турецкий солдат привык видеть «своих собственных офицеров, удирающими от опасности». Начальники спустили шлюпку и удалились к берегу, а команду предоставили воле аллаха. Последний обрек ее плену.

Не приз, не трофей, не добыча были сами по себе важны Нахимову (хотя кого ж они не тешат?), а показания пленных: военные суда противника дислоцируются в Синопе!

На другой день после захвата транспорта наши моряки расслышали орудийные выстрелы. Они доносились с запада. На эскадре Нахимова встрепенулись: на вест, на вест! Многие уже вообразили атаку, обещанную флагманом. Но стихия помешала вновь. Не штормом, а штилем. А в тишине еще явственнее слышались выстрелы. И не требовалось особой проницательности для догадки: неподалеку (очевидно, на меридиане мыса Баба) боевое столкновение...

Так оно и было. Покинем скорее, хоть и ненадолго, эскадру Нахимова. Прежде всего потому, что происшествие близ мыса Баба достойное истории не только нашего или турецкого флота, но общей истории военно-морских сил. Во-вторых, потому, что герой дела приходился Нахимову непосредственным учеником, обладавшим согласно аттестации Павла Степановича «примерным присутствием духа и храбростью».

Итак, пушечный гул, докатившийся до моряков нахимовской эскадры, был эхом боя пароходо-фрегатов «Владимир» и «Перваз-Бахри». Прологом боя была погоня: на «Владимире» увидели дым «Перваза-Бахри» около семи часов утра. Час спустя русские уже различили мачты и трубу. Но и турки оказались зрячими: две трубы преследователя сказали им ясно — русские быстроходнее.

Капитан Сеид-паша принялся лавировать на всех парах. Убедившись, что ему не увильнуть, он напрямик пошел на «Владимира». Ровно в десять русские послали ядро так, чтобы оно легло перед форштевнем неприятеля: известный на морях сигнал — приглашение к капитуляции. Полотнище с полумесяцем продолжало развеиваться. Русские повторили приглашение. Сеид-паша отвечал откровенной невежливостью: залпом правого борта.

Этой минутой началось необычайное сражение: первое в летописях мирового флота сражение паровых кораблей.

«Владимиром» командовал капитан-лейтенант Григорий Иванович Бутаков. Недавно ему стукнуло тридцать три; он плавал с мальчишества, сперва на Балтике, потом на Черноморье; восемнадцатилетним удостоился чести состоять флаг-офицером Лазарева; ходил и в заграничные походы; участвовал и в десантных операциях у берегов Кавказа, а сверх того по праву слыл «зееманом», то есть ученым моряком — составил лоцию Черного моря, изобрел компас с наклонной стрелкой; в капитан-лейтенанты произвели его раньше срока, за отличие в службе, а «Владимира» принял он за год без месяца до того, как повстречал «Перваз-Бахри».

Конечно, превосходство в скорости помогло Бутакову. Однако мастерство Григория Ивановича сказалось не только в использовании этого преимущества. Заметив отсутствие на вражеском корабле носовых и

кормовых орудий, Бутаков, искусно маневрируя, не подставляя своих бортов, наносил «Первазу-Бахри» страшные, сокрушительные удары, сберегая при этом собственный экипаж.

У Сеид-паши оказались моряки brave, не чета парням с транспорта «Меджари-Теджарет», запросто схваченными «Бессарабией». О-о, Сеид-паша и его подчиненные дрались великолепно! Упомянув об этом сражении, К. Маркс отметил, что турки сражались «как настоящие турки»; Маркс воспользовался игрою слов: «like Turks» означает и «как турки» и «с ожесточением».

Корнилов, находившийся на борту «Владимира», отдал врагу должное: «наткнулся на неприятеля, хотя и слабейшего», но «не знаю, чем бы кончилось, если бы не убили упрямого капитана», который «стоял во все время боя на площадке».

Упорство и мужество противника всегда придают победе над ним цену высшую. Бутаков свою победу, кроме того, купил малой кровью: у него убили двух и двух ранили, тогда как враг потерял более двух третей личного состава.

Донося о первом в истории пароходном сражении, Корнилов писал: «Капитан, офицеры и команда парохода „Владимир“ вели себя самым достойным образом. Капитан-лейтенант Бутаков распоряжался, как на маневрах; действия артиллерии были и быстры и метки, чему лучшим доказательством служит разрушение, ими произведенное на неприятельском судне». А разрушения были таковы, что едва-едва удалось привести приз в Севастополь.

Но взглянем на дело шире. И глубже. Ибо победа Бутакова практически показала, что такое тактика пароходного сражения, «особая тактика», как определил ее Корнилов (совсем неведомая, добавим в скобках, англичанину Слейду: несколько дней спустя после боя «Владимира» Слейд, командуя *тремя* турецкими пароходами, потерпел позорнейшее поражение от одного русского парусника).

Этой особой тактикой Г. И. Бутаков впоследствии занимался долгие годы. Не только в кабинете, как автор «Новых оснований пароходной тактики», переведенной на многие языки, но и под открытым небом, как начальник паровой, винтовой и броненосной эскадр, у которого приезжали учиться и американец адмирал Фаррагут, и немец адмирал Яхман, и многие иные. Всей своей жизнью Григорий Иванович оправдал прозорливую надежду Нахимова, высказанную Павлом Степановичем во время обороны Севастополя: «Вас нужно-с сохранить для будущего флота!...»^[28]

Что же до бутаковского подвига на меридиане мыса Баба, то Павел

Степанович услышал о нем в тот же день. Уже стемнело, когда на горизонте блеснули огни. Однако не вражеские, а дружеские, — к Нахимову шла эскадра Новосильского.

Рандеву было кратким. Адмиралы обменялись новостями и кораблями. Федор Михайлович принял у Нахимова суда, потрепанные бурями, а Павел Степанович получил у Новосильского «свеженькие».

И конечно, в адмиральской каюте «Императрицы Марии» не раз было произнесено слово «Синоп». Ведь если (как, несомненно, сообщил Нахимову Новосильский) разведка не нашла крупного турецкого соединения в западной части моря, то оно, очевидно, обреталось в восточной. А коль скоро ни о чем серьезном с востока не рапортовали, то оставался район юго-восточный. Оставалось окончательно поверить пленным с турецкого транспорта и произнести: «Синоп».

И Павел Степанович, простившись с товарищем, отправился именно туда. 8 ноября, вечером, адмирал увидел на Синопском рейде четыре больших судна. Казалось бы, вот она, минута: «В случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его». А тут — тут оказался неприятель, не превышающий в силах. И... атаки не последовало.

Не потому, что Нахимов не пожелал бить лежачего. Причина иная: «На ночь заревел жестокий шторм от W с огромным волнением, — докладывал вице-адмирал в Севастополь. — Корабль „Святослав“ потерял фока-рею, „Храбрый“ — грота-рею. Оба на другой день сигналом известили, что повреждения в море исправить не могут. Фрегат „Коварна“ известил, что у него грот-мачта гнила и вырвало лучший грот-марсель, другой же совершенно негоден, почему все три судна под командой старшего отправлены для исправления в Севастополь... Вообще на отряде от необыкновенной силы ветра много изорвало парусов. Теперь ветер стих, но наступил туман, так что в десяти и менее милях не видно берега. На время я останусь в крейсерстве у Синопа и, когда погода установится, осмотрюсь, не возможно ли будет уничтожить неприятельские суда, стоящие здесь... Отряд мой у Синопа состоит из трех кораблей и брига, а потому я смею просить ваше превосходительство отправленные мною в Севастополь суда приказать немедленно исправить и прислать ко мне. Донесение мое вашему превосходительству доставит пароход „Бессарабия“.»

Выходит, и при хорошей погоде Нахимов все же не атаковал бы, хотя в недавнем приказе говорил, что ударит даже на превосходящего противника. А теперь, при виде равного в силе противника, не поднимает красный, боевой сигнал. «Осмотрюсь», — коротко замечает он. И эта осмотрительность не была напрасной.

Вскоре Нахимов составляет новый рапорт, помеченный так: «11 ноября 1853 г. Корабль „Императрица Мария“, в море под парусами».

В Севастополе читают:

«Обозревши сего числа в самом близком (двухмильном. — Ю. Д.) расстоянии порт Синоп, я нашел там не два фрегата, корвет и транспорт, как доносил вашему превосходительству, а 7 фрегатов, 2 корвета, 1 шлюп и 2 больших парохода, стоящих на рейде под прикрытием береговых батарей».

Каковы же намерения русского флотоводца?

Он блокирует Синоп. Ждет возвращения двух кораблей, чинящихся в Севастополе. Просит пароходы — «без них как без рук». И лишь потом обещает ворваться на Синопский рейд, «несмотря на вновь устроенные (турками. — Ю. Д.) батареи, кроме тех, которые показаны на карте».

Нахимов ждет. Блокирует Синоп. Блокада опасна: ведь Осману-паше выгодно не прятаться в гавани-ловушке, а выйти в море и грянуть на покамест еще слабейшего неприятеля.

Отказавшись от фатального риска прорыва к Синопу, Нахимов не отказывается от реального риска блокады с меньшими, противу вражеских, силами. А риск грозен еще и потому, что резонно было предположить возможность подхода англо-французской эскадры. Что ей мешало покинуть Босфор и устремиться на выручку Осман-паши? Ведь последний давно мог послать берегом курьера в Константинополь.

В околосинопском хладнокровно напряженном карауле сказалась нахимовская натура. Себялюбец, жаждущий славы и ордена святого Георгия 2-й степени большого креста, конечно, понадеялся бы на знаменитое «авось» и попытался сорвать банк. А Нахимов, стиснув зубы, выжидает, строжит, блокирует.

Историк А. М. Зайончковский психологически точен: «Нахимов, по самой природе своей, не принадлежал к числу натур нервных, честолюбивых... В действиях Нахимова обнаружилось то редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, то равновесие ума и характера, которое составляет исключительную принадлежность великих военачальников. Выследив неприятеля, обнаружив его превосходные силы, он сумел удержать у себя и у своего отряда благородный пыл, требовавший немедленно дать волю долго напившему чувству».

В эти дни явственнее, чем когда-либо доселе, проступила еще одна черта Павла Степановича — поистине кутузовская выдержка. Он не погнался, теряя голову, за случаем. Нет, он стерег, когда случай позволит

схватить себя за шиворот.

В Синопе, разумеется, знали о русской блокаде. Подсчитать силы противника не составляло труда. Не требовалось даже морской разведки. Достаточно было выставить наблюдателей на береговых высотах. Логика подсказывала немедленный выход из гавани. Но Осман-паша и Гуссейн-паша остаются на якорях, покорствуя року.

Они торопятся лишь с информацией. В Константинополь летят гонцы. Турецкий адмирал приумножает численность противника. У страха глаза велики? Да нет, очевидно, ложь во спасение. Ведь Осман-паше известна неспешливость султанских визирей.

И еще в этих преувеличениях крылось желание произвести должное впечатление на союзников. В особенности на британского посла Страдфорда: в распоряжении лорда английская эскадра. Если последняя переступит порог Черного моря, то и французы не останутся за дверью.

Обещание союзников — «защищать Константинополь и вообще всякую часть турецкой территории, которая может подвергнуться атаке, будь то в Европе или в Азии», — обещание союзников веяло на турок расслабляюще, как дурман. И, вдыхая его, турецкий флагман как бы снял ответственность со своих плеч, переложил на плечи чужие. Осман-паша не шевельнул пальцем ни для обороны входа на рейд (устройства плавучих преград), ни для того, чтобы расположить свои корабли с учетом секторов огня береговых батарей.

В одном Осман-паша не ошибся — в нерасторопности отечественных сановников. Европейская газета не без иронии сообщала: «Большой совет собрался, выкурил множество трубок и, проведя за этим важным занятием несколько часов, решил, что так как синопские батареи делают всякое нападение русских на эскадру Осман-паши невозможным, то Осман-паша может спокойно стоять на Синопском рейде до тех пор, пока более благоприятная погода позволит послать к нему подкрепления».

Не так отнеслись к своему флагману в Севастополе. Взгляните на хронику одних суток: 11 ноября, в полдень в главную базу, выдержав шторм, вернулся после свидания с Павлом Степановичем вице-адмирал Новосильский; в четыре пополудни «Бессарабия» доставляет нахимовский рапорт: в Синопе — корабли противника; два часа спустя Новосильскому приказывают вновь изготовиться к походу; моряки всю ночь не смыкают глаз, и 12 ноября, в семь тридцать эскадра уходит из Севастополя.

Всей этой молниеносностью распоряжался не кто иной, как Меншиков, находившийся в Севастополе. Любимчик фортуны, обласканный Николаем, князь Александр Сергеевич во время обороны

Севастополя заслужил немало злых упреков. Он справедливо сделался пасынком истории. Случай нередкий. Истории плевать на чины и вензеля, ордена и высочайшие рескрипты. И все же вряд ли стоит жмуриться перед очевидностью: в «синопском случае» была и капля меншиковского меда.

Да, скажете вы, ведь Нахимов просил еще и пароходы: «без них как без рук». Однако как раз утром 11 ноября, то есть еще до просьбы Нахимова, к нему побежали два парохода. Правда, они не нашли Нахимова, ибо искали западнее Синопа, в прежнем районе крейсерства (Амастро — Керемпе), и воротились домой. Но уже 17-го Меншиков послал Нахимову пароходо-фрегаты.

А накануне, в первую половину 16-го, опять-таки отведав тяжелого шторма, корабли Новосильского вступили под команду Павла Степановича. Отныне он обладал преимуществом. Решительным преимуществом.

Меншиков, однако, предписывал Нахимову не трогать приморские города Турции. Из этого как будто бы следует, что светлейший князь мешал нелюбимому им «худородному» адмиралу, стреноживал его.

Но, как говорится, тон делает музыку. А тон у Меншикова был отнюдь не директивный. Князь сознавал элементарное: уничтожая противника близ города, не обойдешься без повреждения города. Прислушиваясь к министерству иностранных дел, Меншиков лишь объяснял флотским: союзники тем скорее приступят к выполнению своих обязательств перед султаном, чем скорее русские ударят по приморским пунктам. А посему, мол, «желательно, чтобы при нападении на военные суда, стоящие на рейде, как в настоящее время у Синопа, не было бы, по возможности, нанесено вреда городу». Это ль запрещение? Мягкая рекомендация, и только.

Нет, никто и ничто не препятствовало Нахимову исполнить задуманное. Но чтоб исполнить задуманное, надо было подумать об очень и очень многом. И вот в том, как Павел Степанович распорядился наличными средствами, и состоит его заслуга.

В одном наиболее подробнейшем описании Синопской победы подчеркиваются два обстоятельства, породившие ее: Нахимов отменил западную доктрину о неприступности берега без численного превосходства в корабельной артиллерии; Нахимов положился не на «лишний десяток корабельных орудий», а на «прекрасные боевые и моральные качества русских моряков».

Обратимся к фактам.

У Осман-паши было пятьсот двадцать стволов, включая и береговые батареи. У Нахимова было семьсот двадцать стволов.

Хорош, прости господи, «лишний десяток»!

Нахимов ждал и дождался, добивался и добился именно численного превосходства в корабельной артиллерии. К тому же и превосходства в живой силе: у Нахимова — шесть с половиной тысяч, у Осман-паши — четыре с половиной тысячи.

Нахимов поступил так, как и следовало поступить дельному человеку. Он был озабочен не умалением «чужеродных» теорий, а жизнью своих подчиненных, соотечественников. И не в этом ли подлинный патриотизм, подлинное сердце?

Теперь о качествах русских моряков. Их мужество бесспорно. Но даже святой Георгий поразил змия не гневным взглядом, а гневным копьем, то бишь орудием вполне материальным. Разве год спустя Севастополь обороняли не те же синопские герои, не их товарищи? Разве год спустя пожухли боевые качества? А Севастополь пришлось оставить. И как раз в силу подавляющего преимущества противника.

Повторяем, заслуга Нахимова в том, как он распорядился наличными средствами. А распорядился адмирал в высшей степени мастерски.

Сверх глубокого знания военно-морского искусства и военно-морского дела, сверх проникновения в то, что теперь называют моральным фактором, Нахимов обладал чрезвычайно важным свойством — он не страдал презрением к противнику.

Презирать (а значит, недооценивать) врага вольны одописцы и карикатуристы, но не политические или военные деятели. Презрение к противнику в родстве с фанфаронством. Худшего советчика не сыскать.

Глупость противника предполагает глупец. Неглупец предполагает в противнике ум и опыт. Обдумывая план сражения, движение в Синоп и диспозицию на рейде, Нахимов обдумывал еще и контр-действия Осман-паши, как бы меняясь местами с турецким флагманом.

Павел Степанович не успел оставить мемуаров (да и навряд оставил бы, переживи войну), не написал он после Синода (насколько известно ныне) частных писем.

Ни единый луч не проникает из адмиральской каюты линейного корабля «Императрица Мария», где Павел Степанович мысленно создал то, что практически осуществилось на Синопском рейде. Ни на другой день, ни после ни словом не выдал он того, что происходило в его душе накануне сражения.

И все же можно утверждать: он не был спокоен. Ибо еще не был тем монументом, который высится теперь в Севастополе, рядом с Графской пристанью.

Всякое сражение, как бы оно «арифметически» ни обосновывалось, оставляет лазейку Случайности. Всякое сражение в какой-то степени подвержено игре счастья и несчастья, капризам и неожиданностям.

Сражение — высшее напряжение телесных и душевных сил. Высшее испытание накопленного в минувшем. Вершина, куда нет торных троп, какими бы наставлениями, инструкциями, уставами и прочими ни был оснащен сражающийся.

Наконец, для человека по имени Павел Степанович Нахимов грядущий бой был личным боем: он сам шел в схватку, а не парил в отдалении. Он шел в огонь, как и тысячи его товарищей. Не бесславием или разжалованием, не высочайшим неудовольствием или выговором могло все обернуться для него, но смертью.

Однажды, еще в мирное время, корабль «Силистрия» едва не столкнулся с другой громадиной. Минута была жуткая. Нахимов всех отослал за грот-мачту, сам остался на юте, почти уж под сенью гибели. Его умоляли уйти. Он был неподвижен. Когда корабли чудом разминулись, у Павла Степановича спросили, зачем, почему он поступил так, как поступил. Нахимов ответил: «Такие случаи представляются редко, и командир должен ими пользоваться! Надо, чтобы команда видела присутствие духа в своем начальнике. Быть может, мне придется идти с нею в сражение, и тогда это отзовется и принесет несомненную пользу».

Он не ошибся: отозвалось и принесло пользу. Как при Синопе, так и в осажденном Севастополе... Если согласиться с Бернардом Шоу в том, что секрет героизма — никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью, то следует признать, что Нахимову этот секрет был ведом.

Однако «не позволять страху руководить» еще не значит не испытывать страха. И кто знает, не прошептал ли Павел Степанович в своей каюте «молитву, глаголемую наедине», не приложился ль к заветному нагрудному образку Николая-чудотворца?

17 ноября 1853 года Нахимов отдал приказ, подробный, но не длинный, отчетливый и, по обыкновению, спокойный, — приказ № 155, — об атаке неприятельского флота.

День выдался скучный, серый, дождливый, туманный.

В девять тридцать началось боевое движение. Впереди была Синопская бухта. Та самая, куда некогда залетали на своих «чайках»

отчаянные казаки. Та самая, промером и описью которой озаботился еще в 1776 году Сергей Плещеев. Та самая, где адмирал Ушаков, посланный Потемкиным, сильно напугал турок.

Но сейчас, 18 ноября 1853 года, на всех восьми кораблях и фрегатах, поднявших национальные флаги, не предаются воспоминаниям. Двумя колоннами (правую ведет сам Нахимов, левую, на «Париже», — Новосильский) эскадра, безмолвствуя, спускается в бухту.

В бою, там уж гром и азарт, там наводи, пали, дерись, исполняй команды. А тут — тишина... Тишина, когда, по слову поэта, можно не выдержать и крикнуть: «Тише!»

«Больше всего, — пишет участник сражения, — смущали нас береговые батареи, каленые ядра; пока будем справляться с кораблями, береговые батареи будут действовать безнаказанно, да еще калеными ядрами; один удачный, скорей случайный, шальной выстрел — и взлетели на воздух. Теоретически все было обдуманно, рассмотрено, но что будет на деле?»

Осман-паша располагал временем (если только он вообще еще чем-либо располагал) для открытия огня по противнику. Он должен был встретить врага залпами, пока тот не развернулся бортами.

У Осман-паши был пусть ничтожный, но был шанс, и он его упустил. Турецкий командующий опомнился от столбняка, когда уж от крохотного шанса осталась и вовсе песчинка. О, какая беготня, какая суета, какой переполох взметнулись на турецкой эскадре!

Ровно в двенадцать на стеньге «Марии» затрепетал сигнал. И от этого сигнала беглая улыбка тронула пересохшие губы. Будто слышалось ласковое: видишь, дружок, наступил полдень... Да, ровно в полдень, словно наступил обыденный полдень, Нахимов велел поднять всегдашний полуденный сигнал. Смотреть вперед, быть готовым к сражению, к смерти... И все ж — полдень, приятель, вот так-то.

А двадцать восемь минут спустя грянул первый выстрел с 44-пушечного флагманского фрегата «Ауни-Аллах».

Сражение началось.

Тот самый очевидец, что признавался в общей боязни береговых батарей, писал: «Судов турецких мы не боялись, знали, что турки стрелки плохие, и всегда их таковыми считали». Должно быть, у Осман-паши служили «другие турки», потому что они стреляли метко.

Нахимовские корабли продолжали двигаться. Молча, без выстрела, неотвратимо. Это движение не обошлось бы без потерь, если бы Нахимов послал матросов убирать паруса. Нахимов не послал. На то он и был

знатоком, чтобы знать обыкновение турок бить по рангоуту.

Как Ушаков и Нельсон, как Сенявин и Кодрингтон, Павел Степанович твердо держался правила: драться на возможно короткой дистанции. Его эскадра получила немало повреждений, пока становилась на шпринг^[29], пока разворачивалась всем бортом, но в том-то и суть, что она выдержала неприятельские залпы, сумела встать на шпринг, сумела развернуться бортом, сумела занять место самое выгодное, самое удобное, самое удачное. И тогда, только тогда начали свою работу металл и порох, а следом огонь, зажигающий суда, и вода, хлещущая в пробоины.

На турецкой стороне к судовым пушкам прибавились сухопутные. Все вместе — матросы и солдаты — не праздновали труса. Как отметил Энгельс, «в пылу боевого одушевления» турецкий боец «меньше всего думает о каких-то командирах, а сражается там, где его застала битва».

Среди ж командиров нашелся высший офицер, который не стал сражаться там, где его застала битва. Этим высшим офицером оказался контр-адмирал Мушавер-паша, «сын владычицы морей» Адольф Слейд. Английский советник и друг Осман-паши находился на 20-пушечном «Таифе». Единственный пароход султанской эскадры, конечно, изыскал бы возможность оказать существенную помощь своим, если бы Слейд считал своими каких-то «грязных азиатов». Двадцать пять лет он набивал карманы турецким золотом, четверть века жил на турецких хлебах и вот теперь, в трагический день, бежал из Синопа. Должно быть, Адольф исповедовал принцип, какой однажды при мне высказал англичанин, тоже носивший военную форму: «У его величества много кораблей, а я у своей мамы один...»

Тем временем нахимовские суда методически, без роздыха, наращивая темп, крушили врага. Уже оглушительно сотрясали воздух, покрывая канонаду, взрывы крьюйт-камер, корабельных пороховых погребов. Уже замолкали, точно поперхнувшись, береговые батареи. Уже выбросился на берег флагманский «Ауни-Аллах», и Осман-паша уже не был флагманом, а был несчастным, всеми покинутым стариком, истекающим кровью и ждущим пленения.

Пушкиным сказано: «Есть упоение в бою...» Кто из участников Синопского боя не согласился б с поэтом? Не отдельные удалцы пылали тем чувством. Вспыхнув, оно сделалось общим.

Встречая в документах имена рядовых воителей, испытываешь благодарность к современникам и историкам: спасибо, что не забыли людей, чей пот просолил морские будни, а кровь — морские победы.

Давно уж косточки нахимовских матросов стали землей Севастополя

или земель далеких от Севастополя деревенских погостов. На братских яминах указывали число похороненных, номер флотского экипажа; на могилках сельских кладбищ указывали — раб божий такой-то, не перечисляя его ратных подвигов.

И потому тихо светлеешь, получив возможность хоть кого-то избавить от «травы забвения». Итак, лишь некоторые:

*Астафьев Григорий.
Грибарев Яков,
Дмитриев Иван.
Жемарин Федор.
Кириллов Андрей.
Корчагин Василий.
Деспотов Алексей.
Минаков Павел.*

Невелик синодик. Но и то в отраду, коли больше века спустя можешь назвать имена «нижних чинов», о которых Нахимов сказал: они дрались как львы.

А про их начальников адмирал сказал: явили знание своего дела и неколебимую храбрость. Кто кому подавал пример — старшие младшим или наоборот? И теми и другими, целокупно эскадрой владело пронзительное чувство: «Есть упоение в бою...»

Владело оно и лейтенантом Петром Никитиным, артиллеристом «отличного мужества», как его характеризовал Павел Степанович; и штурманом Павлом Полонским, потерявшим руку; Михаилом Белкиным и тезкой его Шемякиным, когда лейтенанты, срывая голос, распоряжались в дыму и грохоте орудийных палуб «Чесмы»; и мичманом Николаем Колокольцевым, когда он, спасая свой фрегат «Рафаил», ринулся в горящую крюйт-камеру; и Петром Варницким, когда мичман, оглушенный и раненый, вел баркас, вел его сквозь разрывы снарядов турецкой батареи и двух вражеских фрегатов, чтобы завезти новый якорь и выправить местоположение линейного корабля «Три Святителя»...

Нахимов мог торжествовать, и он торжествовал. Не потому только, что чаша весов клонилась все ниже, все больше в его пользу, а потому, что сам своим долголетним трудом, своей выдержкой и усердием положил груз на чашу этих незримых весов.

Командующего не подвели ни собственный опыт, ни ученики (командиры кораблей), ни боцманы и унтер-офицеры, ни комендоры и

марсовые. То было высшее торжество военачальника. К Нахимову вполне можно отнести похвалу Ключевского, адресованную Суворову: он создал «из машины, автоматически движущейся и стреляющей по мановению полководца», «нравственную силу, органически и духовно сплоченную со своим вождем».

Последним и до последнего дрался «Дамиад». Недвижный, лежащий на мели, придавленный другим, уже мертвым фрегатом, 56-пушечный «Дамиад» сопротивлялся, пока его не заставили умолкнуть 120-пушечный «Париж» и 120-пушечный «Три святителя».

Минуло три часа после полудня. Все было кончено.

Адмирал отправил в горящий город письмо к австрийскому консулу:

«Позвольте мне обратиться к вам, как к единственному европейскому представителю, флаг которого я вижу развевающимся в городе, чтобы вы известили власти несчастного города Синопа о единственной цели прибытия сюда императорского русского флота. Узнав, что турецкие корабли, которые постоянно направляются к абхазским берегам для возмущения племен, подданных России, укрылись на Синопском рейде, я был доведен до плачевной необходимости сражаться с ними с риском причинить ущерб здешнему городу и порту. Я отношусь с симпатией к печальной судьбе города и мирных жителей, и только упорная защита вражеских кораблей и в особенности огонь батарей вынудили нас применить бомбы в качестве единственного средства поскорее привести их к молчанию. Но наибольший ущерб, причиненный городу, определенно вызван горящими обломками турецких кораблей, сожженных большей частью их собственными экипажами... Теперь я покидаю этот порт и обращаюсь к вам, как к представителю дружественной нации, рассчитывая на ваши услуги, чтобы объяснить городским властям, что императорская эскадра не имела никакого враждебного намерения ни против города, ни против порта Синопа. Примите, сударь, уверения в моем высоком уважении».

Все это было изложено, памятуя о пожеланиях князя Меншикова, который, в свою очередь, помнил пожелания русского министерства иностранных дел — не трогать турецкие приморские города, дабы не форсировать выступление англичан и французов.

Адмирал действительно торопился покинуть Синоп: у победителя не было ни малейшего желания повстречаться с союзниками Турции. Едва закончив ремонтные работы, корабли начали выбирать якоря — занялось ненастное утро, ноябрь, двадцатое. За кормой оставался рейд, обугленный массой обломков, пустынный рейд, где уж не было ни одного из

пятнадцати вражеских кораблей; оставался берег с разрушенными батареями, усеянный головешками и трупами; оставался искалеченный, дымящийся город.

Уходить помогали пароходы. К делу они успели, как говорится, под занавес, а теперь буксировали израненных победителей. В море буксиры пришлось отдать: гуляла слишком крупная зыбь.

Вице-адмирал Корнилов (напомним: он был на одном из пароходо-фрегатов) первым примчался в Севастополь. Весть о победе подняла всех на ноги. Севастополь, ликуя, готовился к встрече нахимовской эскадры.

«Имею времени только тебе сказать, что 18 ноября произошло сражение в Синопе, — торопливо сообщает Корнилов в Николаев, жене. — Нахимов со своей эскадрой уничтожил турецкую и взял пашу в плен. Синоп-город теперь развалина, ибо дело происходило под его стенами и турки с судами бросались на берег и зажгли их. Битва славная, выше Чесмы и Наварина, и обошлась не особенно дорого: 37 убитых и 230 раненых... Ура, Нахимов! М. П. Лазарев радуется своему ученику!»

А брату-сенатору Корнилов написал, что Нахимов «задал нам собственное Наваринское сражение», то есть сделал как бы второе издание Наварина. Корнилова, писавшего вгорячах о тождестве двух морских сражений, поправил адмирал флота Советского Союза И. С. Исаков в журнальной статье о Нахимове («Новый мир», № 7, 1952).

Кардинальное отличие Синода от Наварина, по мысли Исакова, вот в чем: «Говоря о строе, вернее о диспозиции Осман-паши, надо заметить, что при Наварине турецкая эскадра была изогнута значительно сильнее, вследствие чего образовала глубокий мешок, чего в бою 18 ноября не было. Боевой порядок турок в Синопе слагался из линии кораблей и дополнявшей ее линии шести береговых батарей, из состава которых четыре принимали участие в бою до тех пор, пока не были уничтожены огнем русской артиллерии. При Наварине турецкие батареи стояли *только у входа* в бухту и свободно пропустили английские и французские корабли, открыв огонь лишь по русской эскадре во время ее втягивания в залив. Однако как только завязался бой, батареи огонь прекратили, так как бóльшая часть из них не была приспособлена для стрельбы в глубь бухты и, кроме того, дистанции корабельного боя были настолько короткими, что стрелять по союзникам, не попадая в своих, турки физически не могли. Поэтому бой при Наварине

был прежде всего чисто корабельным боем...»

Итак, Севастополь ликовал. Ликовали столицы, города и веси, получив сообщения, официальные и частные, о Синопе. Отныне имя Павла Степановича Нахимова знают не только моряки — знает страна.

«Нахимов молодец, истинный герой русский, — восклицает С. Т. Аксаков. — Я думаю, и рожа у него настоящая липовая лопата». Поэты, начинающие и уже известные, поют Нахимова.

Старый князь Вяземский выразил свои чувства не только рифмами, но и поздравительным письмом Павлу Степановичу. Ни автографа, ни копии я не обнаружил. Зато выудил из архива ответ Нахимова. Тут меня предостерегает мастер биографического жанра Андре Моруа: «Биограф, нашедший неизвестные письма или дневники своего героя, плохо сопротивляется желанию процитировать их. Таким образом он добивается уважения специалистов, но его искусство страдает от этого».

И все же я не могу устоять перед искушением привести ответное письмо Нахимова, сохранившееся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ф. 195, оп. 1, дело 2383): во-первых, эта книга не претендует на зачисление по департаменту изящной словесности; во-вторых, ее автор крепко надеется, что «уважение специалистов» ему не угрожает.

«Ваше сиятельство! — отвечал Вяземскому растроганный адмирал. — Письмо ваше из Карлсруэ от 31 декабря я имел честь получить 24 января и спешу принести вашему сиятельству глубокую признательность за теплое, родное участие и истинно русское приветствие, которым вы, один из старейших поэтов наших, почтили русских воинов, удостоившихся быть исполнителями велений нашего царя-отца. Молю господа, да продлит он дни ваши еще на многие годы для прославления драгоценной отчизны нашей. С глубоким уважением и признательностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою Павел Нахимов. Корабль „Двенадцать апостолов“, в Севастополе. 26 января 1854».

Итак, поздравления, тосты, награды. И песня. Ее сложили матросы, украинцы, она сохранилась в письмах мичмана Иванова, обнаруженных сравнительно недавно.

Хвала тобі
Русской земли,
Нахи́менко хватский,
Що потопив
И попалив

Байдаки султански...

Но посреди торжеств сам Нахимов оставался весьма сдержанным, даже хмурым. Всегдашняя скромность Павла Степановича? Она. Но и не только она. Похоже, наедине с собою Нахимов порою думал: «Горе победителям».

В канун войны, говорили древние, все начинают лгать. Во время Крымской войны ложь надела семимильные сапоги. «Никогда еще в газетах не было столько вранья», — сетовал один из петербуржцев. Павел Степанович не очень-то полагался на отечественную прессу. Он выписывал «Таймс». Конечно, и лондонский газетный лист не отличался безусловной правдивостью. Однако легче было, сравнивая, улавливать истину.

А истина была грозная: Синоп, как бич, подхлестнул союзников, англичане и французы закусил удила, реванш был неизбежен. И Нахимов, задумчивый, хмурый, видел себя без вины виноватым.

Глава четвертая

Где-то внизу длинное шипение троллейбусов, слитный рокот транспорта. А здесь, в нагорных улицах, в таких, как Таврическая, старинная тишина. Здесь замечаешь брюхастые железные балконы, наружную железную лестницу с тонкими, как на трапах, поручнями, классическое строение восьмьсот сорок восьмого года, колодезную чугунную крышку, отлитую давным-давно, на частном еще заводишке...

В этих нагорных тенистых улицах — отсветы минувшего. Они усиливаются близ Владимирского собора, порушенного последней войной и все еще полуодетого лесами. И близ башни, белеющей строго и стройно, — Башни Ветров.

Когда-то она соединялась подземельем с Морской библиотекой. Библиотека не уцелела. А Башня, одинокая, как бы затерявшаяся и никому, кроме ребятишек, кажется, и не нужная, стоит себе вот уж другое столетие.

Башня и Владимирский собор — в нескольких десятках шагов друг от друга, на горе, откуда виден весь Севастополь.

Когда корабль уходит в поход, штурман отмечает пункт отшествия. Когда корабль возвращается, штурман отмечает пункт пришествия.

Башня Ветров — как бы пункт отшествия Нахимова в те огненные, жестокие последние месяцы его жизни, без которых он не остался бы навсегда в народной памяти. А собор... Собор — как бы пункт пришествия: там покоятся останки Павла Степановича.

1

В сентябрьский день 1854 года вице-адмиралы Нахимов и Корнилов поднялись на Башню Ветров. Севастополь, прекрасный в своей начальной осенней ясности, лежал пред ними. Но адмиралы смотрели поверх города, мимо города — они смотрели на море.

Оба молчали. Все словно бы отступило, исчезло. Осталось это роковое мгновение. Адмиралы видели дымы и мачты армады. Застя день, она шла сквозь ясность как зловещая хмара: союзный флот натекал на берега Крыма.

В этот же день французский офицер, полковой адъютант, писал родителям: «Море сделалось спокойным, и весь флот подвигается в

стройном порядке, строго соблюдая интервалы между кораблями. Какой величественный вид! Я жажду морского боя! И желал бы видеть эти великолепные, колоссальных размеров корабли в схватках с русскими судами, слышать гром 3000 орудий, находящихся на наших бортах! А все-таки да избавит нас бог от этого. Какая бы ни была судьба сражения, всегда это дело рискованное. Мы увидели землю и вскоре затем небольшой город Евпаторию, а на возвышенностях возле него 12–15 ветряных мельниц».

Бог избавил пехотного офицера от морского боя. Полковому адъютанту, автору многочисленных писем, изданных в Минске в 1894 году, предстояли сухопутные сражения. Начались они неподалеку от Евпатории.

(Описанию крымских боев посвящены томы специальной, популярной и беллетристической литературы. Мой свет в оконце: Нахимов. А подробности и общие картины охочий читатель найдет в иных трудах.)

Итак, 1 сентября 1854 года соединенный флот приблизился к Евпатории. На другой день началась высадка. Уж кто-кто, а русские моряки по собственному опыту знали, как опасен, как сложен и ответствен этот момент — своз десанта на вражеский берег. Но союзникам никто и ничто не мешало. Им даже не привелось сразиться с ветряными мельницами, о которых упомянул француз-адъютант. Не сутки, не двое — неделю кряду союзники без единого выстрела «свозили» на берег личный состав, артиллерийский парк, кавалерию, боеприпасы, продовольствие, фураж, всяческое снаряжение.

8-го числа Меншиков, «главнокомандующий военно-сухопутных и морских сил, в Крыму находящихся», столкнулся с неприятелем на речке Альме. Узкий мелкий поток, тихо струясь, умирал в небольшом заливишке. «Алма» — по-тюрки — яблоко; речонка текла среди садов, огрузневших плодами.

Бой грянул свирепый, обоюдно упорный. Союзники перевешивали числом. И выиграли числом, а не умением. Впрочем, последним не блеснул и Меншиков.

Князь отошел к Севастополю, к южной стороне города. Засим светлейший совершил то, что военные называют фланговым маневром, и очутился позади Севастополя, на балаклавской дороге.

Казалось бы, англо-французам оставалось, как опять-таки красиво изъясняются военные, ворваться в город «на плечах отступающего противника». Этого не случилось. Отчего? Ведь Севастополь располагал укреплениями только для отражения атаки с моря, а сухопутные укрепления, существуя лишь на бумаге, давненько жухли под архивным спудом.

Мнения историков (и гражданских и военных, и русских и иностранных, и прежних и нынешних) решительно дwoятся. Одни усматривают здесь грубую, непростительную ошибку, нечто поразительное и необъяснимое. Другие оправдывают союзников тем, что они не располагали данными о действительном положении Севастополя. В последнем случае англо-французский генералитет, не выказав той смелости, что города берет, выказал благоразумную осмотрительность.

Что ж до Павла Степановича, то Нахимов счел союзных военачальников ослами и даже шутя грозился махнуть после войны в Париж, дабы в открытую «сказать им дурака».

Как бы то ни было, победители при Альме не преследовали побежденных, а принялись «устраиваться» близ Севастополя. И уже вскоре полковой адъютант делился радостью с отцом-матерью: «Я наконец увидел в расстоянии 2 километров этот знаменитый город, против которого три большие державы двинули отборные части своих армий. Ниже города видны некоторые фортификационные работы, на которых, кажется, находится довольно большое количество людей. Видны даже несколько дам между группами рабочих! В порту ясно различаю, при помощи своей зрительной трубы, корабли с высокими темными бортами и белыми по бокам чертами, пересекаемыми черными точками — амбразурами для орудий. Если русским заблагорассудится все эти орудия поместить на укреплениях, мы услышим хорошую музыку!»

Он был не так уж глуп, этот малый в синем мундире. Ему таки пришлось услышать хорошую музыку. Но покамест мы заглянем в Севастополь, оставленный Меншиковым на произвол судьбы.

Геройство защитников Севастополя настолько прочно укоренилось в нашем сознании, что оно кажется присущим севастопольцам уже до одному тому, что они были севастопольцами. Между тем представление это несколько наивно. Как и всякое свойство человеческой души, мужество не возникает из ничего. Мужество нуждается в воспитании, подобно прочим людским качествам. Геройство защитников Севастополя не вспыхнуло в минуту. Напротив, в первые дни воцарились «общее недоумение и паника жителей»: «переполох в это время в Севастополе был ужаснейший», говорит очевидец.

Громадная заслуга Корнилова и Нахимова, им подобных в том-то и заключается, что они своей волей, энергией, своим, чудилось, повсеместным присутствием сумели одолеть, переломить недоумение, панику, переполох.

Из книги «Мысли Наполеона» (Париж, 1913) В. И. Ленин выписал

несколько примечательных строк; смысл их вот в чем: бывают моменты, когда даже самые храбрые солдаты испытывают желание бежать; панику рождает недоверие к собственному мужеству; высокое искусство заключается в том, чтобы возвращать людям это доверие, создавать его.

Таким высоким искусством, не однажды явленным в осаде, обладал и Нахимов.

Судьба Севастополя в случае войны занимала еще Лазарева. Михаил Петрович сделал все, что было в его силах. Он не истратил попусту ни единой казенной полушки. Но «полушки» ассигновались на морские нужды. К тому же император, еще при жизни Лазарева, принимая в Петербурге Корнилова, вещал с августейшей непогрешимостью, что он, Николай, не опасается никаких покушений на Севастополь. Меншиков дудел в ту же дуду. Ежели, иронизировал князь, кто и бросится на Севастополь, то разве что «шайки разбойников-татар».

Ни Корнилову, ни Нахимову, не говоря уж о командирах кораблей, не приходилось заботиться о сухопутье уже по той простой причине, что им хватало забот с Черноморским флотом.

А теперь курс резко переменялся. Теперь приходилось доказать истину флотского острословия: ни один генерал не может быть адмиралом, каждый адмирал может быть генералом.

После Синопа Нахимов умолял Корнилова доложить царю об опасности, грозящей Севастополю с суши. Генерал-адъютант свиты его величества Корнилов мог обратиться в Зимний, минуя высшее морское начальство. Корнилов не обратился. Может быть, из опасения, присущего многим и многим чинам (всех ведомств без различия), говорить царю неприятные вещи. Ведь Владимир Алексеевич не позабыл о своей беседе с Николаем весною пятидесятого года, когда император столь категорически «защитил» Севастополь от любого неприятеля.

Однако теперь Корнилов первым засучил рукава. Еще не утихло радостное синопское эхо, как он в январе (то есть за девять месяцев до евпаторийского и альминского сюрпризов) составил «Боевое расписание корабельных команд и морских береговых частей на случай тревоги по обороне Севастополя с суши».

Вообще и Корнилов и Нахимов после Синопа были весьма далеки от почивания на лаврах. Официальная документация — доказательство их деятельности. Иначе чем кипучей ее не назовешь, хотя слово «кипучая» от частого употребления давно остыло.

Нахимов в зимнее время, во все последующие месяцы, вплоть до того дня, когда он с Корниловым поднялся на Башню Ветров, был занят

подготовкой обороны рейда.

Тут необходимо маленькое отступление. На фоне грозно-громadных событий оно может глянуть незначащим, лишним. Но биограф Нахимова не должен миновать его. Дело-то в том, что как раз в это время зашелестела злая молва о несогласиях между Нахимовым и Корниловым. Первый был на три года старше последнего; правда, Владимир Алексеевич занимал более высокую должность и фактически командовал флотом; зато Нахимов дольше был в службе, что по тем временам считалось немаловажным. И вот, сетует один из очень добросовестных современников, «нашлись люди, которые стали жужжать Нахимову, что Корнилов распоряжается его эскадрой как своею, — и самолюбие флагмана... заговорило на мгновение». Но, добавляет свидетель, Павел Степанович не дал воли своему чувству, и отношения у него с Корниловым не испортились. Старшинство не мешало Нахимову не только признавать ум и характер Корнилова, но и ставить Владимира Алексеевича выше себя.

Однако мирская молва что морская волна. Слух плеснул в столицу, к балтийцам. Нахимов огорчился всерьез. Он написал Рейнеке: «До Синопа служил я тихо, безмятежно, а дело шло своим чередом. Надо же было сделаться так известным, и вот начались сплетни, которых я враг, как и всякий добросовестный человек». Павел Степанович был столь раздосадован, что просил друзей развеять сплетни.

Примечательная реакция! Для Нахимова суть была не только в личных отношениях с Корниловым, но — и это главное — в служебной репутации. Умение отместить мелочное, случайное, желание ладить с уважаемым соратником — пример поучительный для военных и невоенных.

Рейнеке, старинный приятель Павла Степановича, лучше чем кто-либо понимавший Нахимова, не замедлил успокоить «семью моряков». Известный полярник и участник Наварина П. Ф. Анжу ответил Рейнеке: «Как я был обрадован письмом Вашим, доказывавшим нелепость толков о невыгодных отношениях П. С. Нахимова с Корниловым; прибавлю к тому, что впоследствии мне весьма часто случалось, к удовольствию многих, приводить строки Ваши к уничтожению слухов, вредивших тем, которых честь каждому из нас дорога. 29 июня (1854 г. — Ю. Д.) на Кронштадтском рейде, на корабле „Петр I“ Петр Иванович^[30] праздновал свои именины, где участвовало много дам. За обеденным столом было более ста человек. Между предложенными тостами, провозглашен был Петром Ивановичем с приличным похвальным словом заздравный тост за Павла Степановича Нахимова, что было принято с восклицанием громкого ура. Пишу об этом, зная, что для Вас приятно слышать, как здесь чтят Павла Степановича,

отдавая справедливость заслугам отличного моряка и славного героя»^[31].

Но если между Корниловым и Нахимовым все же пробежала хотя бы тень от кошки, то на Башне Ветров, в роковые минуты, когда неприятельская армада надвигалась, как сама Судьба, оба адмирала явственно ощутили общность своей участи. Ощутили то, о чем в просторечии говорят: «Связал нас бог одной веревочкой».

Оставив Севастополь, князь Меншиков оставил Корнилова начальником Северной стороны города, а Нахимову милостиво доверил оборонять Южную. Мановением холеной руки светлейший поручил морякам совершенно неморское дело, перевел их с палубы на уже выжженную летним зноем каменистую, полынную сушу.

Оставляя Севастополь, светлейший оставил в Севастополе неразбериху: не отграничил с той строгостью, какую требует военное дело, права и обязанности старших морских и армейских начальников.

Отсутствие единоначалия пагубно сказалось бы с первых дней обороны, окажись на месте Нахимова и Корнилова люди иного понимания воинского и гражданского долга.

И вот тут-то, на военном совете (в своем роде уникальном — без главного; на совете, позволительно выразиться, равных и неподчиненных), тут-то и сказалось подлинное отношение Нахимова к Корнилову. Павел Степанович решительно объявил свою готовность подчиняться Владимиру Алексеевичу. Остальные незамедлительно согласились. Возникло единоначалие, единство командования. Без него Севастополь, конечно, не выдержал бы столь длительной осады.

(Кстати, о термине «осада». Адмирал И. С. Исаков, кажется, первым обратил внимание на некоторую неточность применения этого термина к севастопольской эпопее: «Строго говоря, Севастополь не был в осаде, так как обложена была только Южная его сторона, а коммуникация с Симферополем и далее с Россией поддерживалась систематически, даже без конвоев и эскортов. На Северной стороне города находились штабы, склады боезапаса, продовольствия и фуража, мастерские, госпитали, разгрузочные пункты, обеспечивающие деятельность частей на Южной стороне. Связь и свободное сообщение с русской полевой армией не прекращались до конца войны, за исключением двух-трех дней середины сентября 1854 года, когда союзная армия производила переразвертывание на новую базу Балаклава — Камышовая бухта. Возможно, что термин „осада“, часто заменяемый словом „блокада“, получил широкое применение потому, что Севастополь был заблокирован с моря англо-французским флотом, располагавшим подавляющим численным и

техническим превосходством».)

Вскоре после альминского проигрыша Нахимов пережил самое мрачное, самое трагическое из того, что ему выпало на долю.

В этом поистине страшном деле Павлу Степановичу к тому ж пришлось выдержать сопротивление своего друга. Нахимов отлично понимал душевное состояние Владимира Алексеевича. Больше того, Нахимов испытывал такое же отчаяние. И все же...

Совет флагманов и командиров решал: быть или не быть? Быть или не быть Черноморскому флоту? Быть или не быть тому, что давно, бесповоротно, окончательно как бы вошло в кровь и плоть, стало домом, малой родиной, единственным, ради чего жили и трудились.

Совет решал: выйти ль в море и сразиться с неприятелем или затопить корабли, сняв с них орудия и боевое имущество? Корнилов стоял за выход в море, за гибель с честью, гибель в открытом, абсолютно неравном бою. Любопытно: еще до осады, в январе пятьдесят четвертого года, Владимир Алексеевич указывал, что *«нельзя и думать»* о схватке с могучим союзным флотом. А сейчас, в сентябре того же года, он предложил «разразить врага на воде». Предложил, весь пылая, одержимо, с тем жестким выражением худощавого лица, которое говорило больше слов.

Некоторые высказались «за». Однако лишь некоторые. Капитан 1-го ранга Аполлинарий Зорин, командир «Селафайла», впоследствии вице-адмирал, возразил: как ни горько, игра не стоит свеч.

А Нахимов?

И. С. Исаков писал: «Нахимов без колебаний выступил против своего друга и боевого товарища».

Это не так: Нахимов молчал!

Историк В. Д. Поликарпов, восстановивший эпизод заседания драматического совета по архивным документам, объясняет: Нахимов молчал потому, что не хотел спорить с Корниловым в присутствии младших, не хотел ставить Владимира Алексеевича в неловкое положение.

Думается, и это не совсем так.

Нахимов, очевидно, колебался. Но уже одно то, что он не поддерживал своего друга и боевого товарища (хотя именно голос Павла Степановича мог оказаться решающим), уже одно это — новое доказательство перевеса разума над эмоциями в нахимовской натуре.

Здесь, как и в виду Синопа, выказалась черта его таланта: редкое соединение твердой решимости с благоразумной осторожностью, «исключительная принадлежность великих военачальников».

Справедливости ради надо отметить: большинство участников

совещания не разделило рыцарского порыва Корнилова. Был принят план «баррикадирования» главного фарватера кораблями-ветеранами, кораблями, так сказать, пенсионного возраста.

(Позже, уже в «тонущем» Севастополе, многим черноморцам казалось, что лучше было бы все-таки схватиться с врагом на море. Такого мнения держались люди пылкой храбрости; им недоставало холодности рассудка. Вот, к примеру, подлинный диалог офицера с седовласым, почтенным боцманом.

Офицер. Послушай, старинушка, подумай только, что у них конвой, верно, был всегда готовый к бою, да и то сообрази, что в драку вступить легко сказать, а ведь их по десяти корабликов, я чай, на наш один пришлось бы, да еще наши-то парусные, неповоротливые, нашим-то все приходится плясать по дудке ветра, а те паровые, так они бы нам такого чесу задали, что и Севастополя некому было бы защищать, и бухту нечем было бы запрудить.

Боцман. Может быть, ваше благородие, слов нет, может, мы и погибли бы, и флот бы погиб... Да тогда, по крайности, знали бы, каков он есть, Черноморский-то флот! Да и мы знали бы, как погибнуть! Не то что тут в хате лежишь аль сидишь, а тебя, гляди, ежеминутно норовит или бомба разорвать, или ядро пришибить; там бы сцепились с любым кораблем, который погрузнее, да и поднялись с ним на воздух.)

Морские летописи знают случаи затопления кораблей их же водителями и служителями. Всякий раз такая молчаливая гибель оказывалась драматичной. Моряки прощались с кораблем как с живыми, обреченными на заклятие. Моряки испытывали что-то похожее на чувство вины перед верными товарищами, с которыми немало выстрадали и которые не раз выручали их.

Один севастополец запечатлел в своих воспоминаниях самопожертвование черноморцев. Эти строки дышат таким неподдельным чувством, что читатель, надеюсь, не посетует на длинную цитату.

«Адмирал Новосильский и командир корабля капитан 1-го ранга Кутров отправились на вельботе на берег, чтобы принять участие в совещании. На корабле у нас общее внимание обращено на Графскую пристань, у которой вельбот адмирала; сигнальщик не отрывает глаз от трубы. Вдруг раздается зычный голос: „Отваливает“. Адмирал с командиром возвращаются на корабль. Все офицеры по старшинству становятся во фронт; они, видимо, стараются казаться спокойными, бодрыми, но лихорадочный блеск глаз выдает их душевное настроение. Вызван караул с музыкой; при звуке встречного марша адмирал спускается

с площадки трапа на палубу; приняв рапорт старшего офицера, он машет рукой, музыка умолкает; выражение его лица грустно; не менее грустно и выражение лица командира, слезинки пробиваются из учащенно мигающих ресниц.

— Господа, — обращаясь к офицерам, сказал адмирал, — я вам, к великому моему прискорбию, привез печальную весть: мы должны будем расстаться со своим кораблем, он попал в список судов, назначенных к затоплению на фарватере.

После этих слов наступило гробовое молчание. Когда адмирал спустился вниз, офицеры окружили командира; здесь уже не было начальника и подчиненных; общее горе сблизило людей. Но в эту тяжелую минуту каждый сознавал, что ему предстоит трудная, непривычная, но вместе с тем славная служба — защищать с берега свой любимый порт.

Сейчас же на кораблях, назначенных к затоплению на фарватере, отвязывались паруса, спускались стеньги. Около трех часов корабли, буксируемые гребными судами, тихо подвигались к своему кладбищу. По всему рейду тянулась печальная процессия. Еще не прошло года, как некоторые из этих развенчанных героев прославили свои имена, в несколько часов уничтожив турецкий флот, а теперь, общипанные, с голыми мачтами, уподоблялись преступникам, идущим на казнь в непригожем виде. В общем эта картина производила впечатление похоронного шествия, которое сопровождалось искренней печалью и слезами родственной семьи моряков, а также и посторонней публики, пришедшей в последний раз взглянуть на своих любимцев...

На другой день ждали только, по предварительному соглашению, подъема национального флага на флагштоке городской библиотеки. С напряженным вниманием и болью в сердце ждали появления этого рокового флага, и вот около шести вечера взвился он над библиотекой. Хотя все сознавали необходимость приближающегося грустного факта, но невольно являлась какая-то грустная нерешительность. Флаг продолжал развеиваться. Начинается спешная работа по разгрузке судов: всю ночь команда неутомимо работает; все, что только возможно, отвозится на берег...

Наступает рассвет — условленное время затопления судов; кругом берег по всем направлениям и прибрежные горы южной бухты усеяны публикой.

На кораблях рубятся мачты, слышались свистки, всю команду на корабле вызывают наверх; она становится по обеим сторонам борта; проверяется команда, двух матросиков недостает; наконец они

выскакивают, и у каждого в руках по любимой кошке. После проверки посылаются вниз люди, чтобы с обеих сторон в одно время в подводной части прорубить отверстия.

Офицеры и команда приготавливаются оставить корабль; почти у всех на глазах слезы, некоторые рыдают; соседние корабли постепенно, один за другим погружаются в воду.

Шлюпки, наполненные оставившими свои суда командами, плывут к берегу; но корабль „Три святителя“ еще борется за жизнь; он лег на левый бок и не идет ко дну; ветеран, казалось, не желает умирать такой позорной смертью; в своей смертельной агонии он как будто ждет более почетного смертельного удара. Подходит пароход „Громоносец“, пускает в него несколько ядер; зашатался великан, медленно скрывается под водой и, точно последним вздохом, взбурлил над собой морскую пучину...»

А несколько месяцев спустя затопили еще партию судов, и севастопольские бухты, как выразительно заметил современник, «захлебнулись кораблями». Прорыв неприятеля со стороны моря исключался начисто.

Неприятель понял и оценил поступок русских. Французский адмирал Гамелен донес в Париж, что, если бы корабли не были затоплены, «союзный флот после первого выдержанного огня проник бы туда (в Севастопольскую гавань. — Ю. Д.) с успехом и вступил бы из глубины бухты в сообщение со своими армиями».

Во все время обороны Севастополя действовали на море лишь пароходо-фрегаты, в частности бутаковский «Владимир». Отряд — карликовый в сравнении с числом лошадиных сил, которыми располагал враг, — совершил немало дерзких вылазок. Кто знает, не завидовал ли втайне Павел Степанович молодым офицерам пароходо-фрегат, хотя бы тому же Григорию Бутакову, которого Нахимов не пускал на бастионы, сберегая для будущего флота? Кто знает, не завидовал ли всем им Павел Степанович?

И не потому, что понимал — грядет новый, паровой и винтовой флот, а потому, что сейчас, теперь эти машинные фрегаты ходили среди волн и ветров Черноморья... И все же флот жил. Он жил, ибо жили флотские экипажи, возвращенные на палубах, в штормах. Он жил, ибо его артиллерия переселилась на берег. Флот жил в огне, огнем, среди огня. Флот жил, ибо дрался с неприятелем, можно сказать, самым могущественным в Европе, дрался на самых важных, ключевых, опасных участках постепенно возникавшей оборонительной линии.

Были в моде мыльные пузыри. Почти в каждой гостиной — чашечки мыльной воды и коротенькие соломки. Не мальчики, а мужи, наравне с мальчиками, только еще «выезжавшими в свет», морщили губы, выдувая радужные легонькие шарики. Но вот налетел самум войны...

Правда, вначале, под синопским хмелем, «общество» верило в скорый погром супостатов. Скрипели перья: крестовый поход на Царьград, святая миссия белого царя, «ура! на трех ударим разом» и тому подобные упражнения, густо уснащенные церковнославянской лексикой и щедро награждаемые правительством.

Альмой началось отрезвление. Осада Севастополя продолжила его и завершила. Глиняные ноги колосса растрескивались от жара крымской канонады. Обнаруживались и дипломатические просчеты, хотя Николай Павлович «понимал о себе», как о дипломатическом гении. Оказалось, что ни Австрия (о черная неблагодарность!), ни Пруссия (какая негаданная подлость!), ни Швеция (проклятый старый недруг!) не только не сулят надежного нейтралитета, но еще, пожалуй, могут напрячь бранную мышцу. Выходило, что волей-неволей придется дислоцировать три четверти вооруженных сил на западных рубежах империи.

«Общество» глухо ропщет: корабль дал течь, крысы заматались в трюмах. Обостряется то, что называется кризисом верхов.

Смешанные чувства испытывает передовая русская интеллигенция: горько сострадая мужикам в шинелях, восхищаясь их мужеством, она не желает побед Николаю Первому, страшась еще большего укрепления его власти.

Прямо, без смятений и колебаний, по-крестьянски смотрит на дело Тарас Шевченко:

Опять настало время злое...
Опять струится кровь мужичья...
Палачи в коронах,
Как псы голодные за кость,
Грызутся снова...

«Народ, — говорит Чернышевский, — застонал, когда услышал: „началась война“. Народ „застонал“ и взялся за топоры. Уже в конце 1854

года поднимаются целые губернии. Не жандармы, не роты нужны теперь — нет, крупные подразделения, полки. Война с врагом внешним могла вот-вот слиться с крестьянской войной. Угроза была серьезная, и правительство это понимало.

Однако силою вещей оно, правительство, понуждалось именно к тому, чтобы обращаться к народу: был объявлен манифест о наборе в ополчение. Тут опять-таки все не столь просто, гладко и „барабанно-патриотически“.

Мужик идет в ополчение. Идет охотно, массою. Мужик толкует: лучше служить царю, чем барину. Наивный монархист, веруя (и еще долго-долго после войны храня эту веру) в царя-батюшку, противопоставляет его помещику. Мужик рассуждает так: солдата регулярной службы освобождают от „крепости“, он человек казенный; в таком разе и ополченца, ратника, тоже освободят. А как иначе? Ратник ведь такой же солдат (отличие формы не в счет), ратник тоже кровушки не пожалеет, почему ж и ратника не избавить от неволи-недоли?! Мужик об этом заявляет громко, в открытую, требовательно. В „Дневнике старого врача“ (Н. И. Пирогова) читаем: „...При формировке ополчений крестьяне Юго-Западного края изъявили намерение поголовно идти в казаки, то есть выйти из крепостной зависимости. Понадобились даже местами и пушки для усмирения“.»

Мысль эта — выйти из крепостной зависимости — жила и раньше, во времена одоления Наполеона Первого. Грибоедов оставил ярчайший антикрепостнический документ — набросок пьесы «1812 год». Герой пьесы мужик-ополченец полагал, что после победы «дадут волю». И позже Крымской войны, уже в пореформенную эпоху, во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов крестьяне, как пишет историк П. А. Зайончковский, надеялись на «черный передел». Маркс прав: царизм в лихие военные годы вызывал «перед взорами крестьянства *fata morgana* свободы».

В массовом героизме Крымской войны, Севастопольской обороны просматривается и эта вот надежда — надежда на то, что с такими отважными бойцами впредь не посмеют обращаться по-скотски: «Креста, что ли, на господах нету?»

Матросы одной команды, одного экипажа утвердились бок о бок на одной позиции — на сухопутных рубежах. Морские батальоны расположились привычным порядком, привычным бытом (с неизбежной

поправкой на условия), и главное — перенесли на сушу все, что сложилось на палубах и реях, то есть свою особую быстроту, сметливость, способность к самостоятельности, к риску.

Ничуть не умаляя мужества армейцев, надо все же обратить внимание читателя на выдающуюся роль флотских. Мемуаристы, не принадлежавшие к ним, согласно свидетельствуют: «Вообще флотские офицеры и матросы были настоящие воины и давали тон всем защитникам Севастополя; они настолько были проникнуты стоицизмом и долгом воинской чести, что без всякого приказанья от высшего начальства легко и даже тяжело раненные обыкновенно не стонали от боли».

Нахимов постоянно бывал на оборонительных рубежах. «Чтобы иметь влияние на людей, — говорит Ключевский, — надо думать только о них, забывая себя, а не вспоминать о них, когда потребуется напомнить им о себе».

В осажденном городе Павел Степанович получил несколько контузий, хворал, но перемогался, и неизменно объезжал позиции, никого и ни о чем не забывая. Вот каким запечатлелся он в памяти защитников Севастополя: «Павел Степанович Нахимов был высокого роста, несколько сутуловатый и не тучный; всегда опрятный, он отличался свежестью своих воротничков, называвшихся у черноморцев лиселями^[32], — наружная чистота, любимая им во всем, соответствовала его высоким качествам; скулистое, живое лицо выражало всегда состояние духа, а мягкие голубые глаза светились умом и смыслом; характер энергический и вполне понятный морякам...»

Нахимова иногда упрекали в безрассудной храбрости: в далеко приметном адмиральском облачении, он появлялся на позициях. Нахимов отвечал раздумчиво, без тени рисовки:

— Хожу же я по батареям в сюртуке и эполетах потому, что, мне кажется, морской офицер должен быть до последней минуты пристойно одет, да как-то это дает мне больше влияния не только на наших, но и на солдат.

Нахимов, чем дальше, тем острее сознавал гибельное положение Севастополя. Однако и мысли не допускал, что переживет падение его. Повторял: черноморский моряк *не может* покинуть родной город. Чтобы оставить Москву, надо было обладать прозорливостью Кутузова; чтобы не оставить Севастополя, надо было обладать сердцем Нахимова. Для него это было попросту невозможно, неприемлемо, непереносимо.

О матросах, солдатах, офицерах, о тех, кто дрался до последней возможности и сверх последней возможности, современник сказал: людей и эти кучи камня связывали огонь и кровь. Быть может, крепче чем кого-

либо они связывали с руинами Нахимова. Он не видел «куч камней», он не смотрел на Севастополь лишь как на базу, без которой не возродится Черноморский флот. Он ни на миг не отделял своей участи от участи Севастополя.

Нахимова не только попрекали в безрассудной храбрости, но и подозревали в нарочитых поисках смерти. Конечно, версия о *желании* Нахимова погибнуть на севастопольских редутах не высказывалась Павлом Степановичем ни устно, ни тем паче письменно. Но разве хоть единая жизнь человеческая полностью, исчерпывающе документирована?

Адмирал И. С. Исаков резкий противник подобной версии: причислять Нахимова к сознательным самоубийцам большая ошибка; нельзя воина, решившего стоять до конца на своем боевом посту, считать самоубийцей.

Фатальное отношение к смерти — «чему быть, того не миновать» — чувствуется у многих защитников твердыни. Да правду сказать, без него они не выдержали бы этого поистине ужасающего напряжения. Впрочем, от фатализма до самоубийства — дистанция.

Однако мы располагаем письмом к Нахимову неизменного Михаила Францевича Рейнеке. Письмо это привожу, прибегая к выразительности курсива:

«Слышу, что ты разъезжаешь на коне по всей оборонительной линии, и единственно тобою поддерживается порядок и дух войск, не только матросов, но и солдат. С твоим именем и при твоих понятиях об обязанностях начальника иначе и быть не может. Но для чего без нужды пускаться в самые опасные места и подвергать себя убийственному огню? К чему *искать смерти*?.. Думаю даже, что в случае смерти, которую *ты так ищешь*, самый поступок этот перетолкуют иначе: что ты, впадши в отчаяние, не смог перенести угрожающего несчастья... Ради бога, мой добрый друг, береги себя для общей пользы! Только ты еще можешь поправить или хоть поддержать дела Севастополя. Да если взглянешь на это как христианин, то не малодушие ли бояться пережить или быть свидетелем падения города, хотя оно, конечно, и весьма скорбное унижение для отчизны, *не похоже ли это на самоубийство*, не грех ли это?»

Рейнеке говорит не о воинском долге, а о долге христианина: верующий не смеет налагать на себя руку. Но Павел Степанович и не думал пускать пулю в лоб. Однако, сомненья нет, лоб свой не берег от вражеской пули.

Между тем смерть кидалась на Севастополь, металась в Севастополе, верховодила всевластно, поставляя сотни и сотни трупов тому унтеру, который командовал перевозкой убитых с Южной стороны на Северную, в

братские ямины, и который не без мрачного юмора был окрещен Хароном. Не обегала она стороной и союзников. Французское кладбище близ Камышовой бухты принимало подданных императора Наполеона III, их укладывали в склепы, сохранившиеся поныне. И другое, близ Балаклавы, тоже ширилось, давая вечный приют именитым и неименитым англичанам, «сынам» Виктории, королевы Великобритании и Ирландии.

В пятый день октября 1854 года неприятель подверг город бомбардировке с моря и суши, «брандовке», как говорили матросы и солдаты. «Рабочий день» длился восемь часов; союзники обрушили на врага пятьдесят тысяч снарядов. Русские отогнали атакующих.

Французский лейтенант, разбирая отечественные архивы, хотел задним числом оправдаться. «Результаты этого боя не были вообще значительны, да большего и нельзя было ожидать, так как дистанция, с которой суда атаковали, была слишком велика для орудий того времени. (Лейтенант не замечает, как обвиняет своих подзащитных в робости! — Ю. Д.). Конечно, при более настойчивой атаке союзники могли бы заставить замолчать батареи, но нужно считаться с тем, что сопротивление, оказанное русскими, было весьма упорно, и когда союзники вечером стали удаляться, то как с Северной стороны, так и с Южной были провожаемы энергичными и многочисленными залпами».

Альминские реляции, отступление Меншикова убедили Англию и Францию в близком падении Севастополя. Но Энгельс предвидел, что «Севастополь будет взят только после отчаянного сопротивления и ужасного кровопролития; кровавые картины сражения на Альме, конечно, будут превзойдены в своем роде ужасами штурма и взятия Севастополя».

Ураганный шквал 5 октября не сокрушил обороняющихся. Севастополь выстоял. Неприятель поневоле признал необходимость долгой осады. Однако ни один генерал ни тогда, ни позже не посмел бы и не захотел бы признать, что за длительное мирное время перед Крымской войной материальная часть европейских армий прогрессировала в той же мере, в какой деградировало их искусство воевать.

Вслед за чудовищной «брандовкой» наступило затишье. Затишье относительное. Потому что пушечная дуэль не умолкала, хотя и не была столь интенсивной, как 5 октября. Потому что пароходо-фрегаты, подкараулив соперников, завязывали стычки. Потому что на пикеты и траншеи неприятеля налетали пластуны, эти неуловимые полуночники, которые сами о себе говорили: «Где сухо — там брюхом, где мокро — там на коленках...» Потому что на исходе все того же октября случилось Инкерманское дело. Меншиков его не хотел. Его хотел Николай. Дело было

проиграно. И тягостное впечатление от этого проигрыша затмило предшествующую удачу под Балаклавой. А в Севастополе уже ощущалась нехватка снарядов. Она понудила защитников умерить мощь артиллерийских контрударов. И вот теперь уж в особенности начинает чувствоваться та роковая нехватка в средствах ведения войны, которая и придавала севастопольской эпопее резкие черты трагизма.

Давно все это отошло в прошлое, но и нынче горестно слушать очевидцев. «...Подняли в дело такие орудия, которые если бы не этот случай, то, верно, лежали бы до второго пришествия в арсенале, а в нужде и те поставили на место; бывало, привезут ядра и пошла пригонка, годно или негодно, а если и есть зазор на 1/8 вершка, то на это моряки говорили артиллеристам: „Ничего, сойдет“, и правда, что ничего; как стукнет, бывало, — так в ушах и зазвенит, но наносили они вред неприятелю или не наносили, нам известно не было».

Или вот еще: «Но досаднее всего это то, что на каждый наш выстрел они отвечали десятью. Наши заводы не успевали делать такого количества снарядов, чтоб нанести хоть небольшой вред неприятелю; и кроме того, подвоз на телегах гораздо неудобнее, чем подвоз на пароходах, на которых неприятель доставлял все, что только ему нужно».

И еще: «...Мы собирали осколки, клали в жестянки и заряжали мортиры. Пущенные таким образом, осколки осыпали неприятельские траншеи. Были у нас своего рода ланкастерские пушки. Чугунные, бомбические пушки с отбитыми цапфами мы вкапывали под углом в землю, давали желаемый угол возвышения, подкладывая клин. Пущенные из этих орудий бомбы залетали в неприятельский лагерь, но чаще разрывались в высоте по неимению трубок для дальнего полета. Были частые разрывы чугунных пушек, что наносило большой вред прислуге».

Обычно упоминается лишь о малом числе штуцеров, то есть нарезных ружей, упоминается, что за эдакую редкость пластунам, добытчикам их у неприятеля, платили денежную награду, что штуцера вручали лишь самым метким стрелкам, по-нынешнему сказать — снайперам. Но и с гладкоствольными ружьями севастопольцы хватили горяшка.

«...Французские пули Минье, введенные у нас во время осады, после двух или трех выстрелов не входили в дуло. Солдаты загоняли пулю, ударяя камнем по шомполу; шомпол гнется в дугу, а пуля не подается. Колотили как в кузнице. Солдаты приносили сальные огарки, смазывали пулю, но все не помогало. Ружья, переделанные на нарезные, раздирались по нарезам. Не мудрено, что в таком положении офицеры приходили в отчаяние, а солдаты бредили изменой».

Еженощное исправление порушенных за день укреплений, прокладка подземных минных галерей требовали саперного инструмента. Чего уж кажется проще, тут тебе не артиллерия, не пули Минье, не штуцера, однако опять-таки выходило худо. «На работах при каменистом грунте наш шанцевый инструмент, столь красивый на инспекторских смотрах, оказался мало пригодным. Только и можно было работать инструментом, добытым от неприятеля, преимущественно английским. Даже железо татарских топоров оказывалось сноснее нашего при разбивке камня для щебня».

Крымская война была не только войной с внешним врагом, но и с врагом внутренним: фронтовиков с тыловиками. И в мирное время казнокрадство цвело махровым цветом. Теперь оно достигло небывалого размаха. В еще бóльшей степени, нежели нищету материальную, империя ощущала нищету моральную: в людях элементарной честности.

Чиновники, коммерсанты, подрядчики, интенданты не могли бы так «развернуться», если б получали должный отпор от высшего строевого офицерства. (Например, такой, какой задал Нахимов в случае, описанном Лесковым.) Отпора не было. Была стачка, рука в руку, полное взаимопонимание. «...Все эти генералы, — писал Энгельс, — командующие корпусами, дивизиями, бригадами с их соответствующими штабами, хорошо известные своим подчиненным, хорошо знающие друг друга, прекрасно чувствующие себя на своих постах и при исполнении своих обязанностей, — все это оказалось сплошным грандиозным сговором для присвоения казенных денег и расхищения солдатских пайков, обмундирования и сумм, предназначенных для устройства их быта»^[33].

«Вкоренился обычай мошенничества разного рода», — с горечью замечал современник. Впрочем, подобный «обычай» не был специфически русским. Он был, так сказать, интернациональным. Один из поляков, находившийся на султанской службе, признал впоследствии, что «интендантства союзных держав научили турок, как обкрадывать и обсчитывать казну. Эта западная школа принесла обильные плоды».

Под стать всем прочим видам обеспечения войск пришлось и медицинское. Не хватало врачей и санитаров, не хватало медикаментов, даже носилок. Госпитали не успевали размещать изувеченных. Да и сами госпитальные условия были омерзительными. Свидетелем — авторитет непререкаемый: уже упомянутый выше Николай Иванович Пирогов.

Отмечая «общность» интендантства русского с интендантством союзных армий, следует отметить и сходство госпитальных условий. Прочтите, обращался Маркс к читателям «Новой одерской газеты», «описание положения дел в госпиталях (союзников. — Ю. Д.), описание

тех позорно жестоких условий, в которых — не то из-за нерадивости, не то из-за беспечности — находились больные и раненые как на борту транспортных судов, так и по прибытии на место назначения». И ниже: «На месте не нашлось ни одного мужчины, обладавшего достаточной энергией, чтобы разорвать эту сеть рутины и действовать на свою ответственность, руководствуясь требованиями момента и вопреки регламенту. Лишь одно лицо осмелилось это сделать, и это была женщина, мисс Найтингейл».

Филантропка и писательница Флоренс Найтингейл была у союзников первой и, кажется, единственной ласточкой. В России нашлись и мужчины и женщины, способные рвать цепь рутины. В Севастополе удалось несколько улучшить дело усилиями Пирогова и его сподвижников при усердной помощи Нахимова^[34]. Медикам помогали солдатки и матроски, офицерские жены, жительницы города, такие, как знаменитая Даша. Ее «благородная склонность», пишет Пирогов, обнаружилась еще при Альме: она, продолжает Николай Иванович, «ассистировала и при операциях». В осажденный, пылающий Севастополь приехали сестры милосердия, те русские женщины, которых, право, можно поставить рядом с декабристками, если не выше. И простая девушка, известная в истории под именем Даши Севастопольской, и жительницы города, и эти сестры милосердия — все они не были родней красноречивой г-жи Хохлаковой. Помните, у Достоевского в «Братьях Карамазовых»? Г-жа Хохлакова изливалась старцу Зосиме, что она-де могла бы стать беззаветной сестрой милосердия, когда бы не боялась неблагодарности и капризов страждущих. А старец Зосима отвечал ей, что существует любовь мечтательная и любовь деятельная. И определял последнюю: «Любовь же деятельная — это работа, выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука».

Севастопольские женщины явили любовь деятельную. Они не уstraшили ни грязи, ни вони, ни вшей, ни гноя, ни «капризов». И они явили «работу и выдержку» не ради благодарностей. Одно присутствие этих женщин (не только в госпиталях, но и на редутах) приносило облегчение людям, истекающим кровью. За сердце хватают слова умирающего солдата, сказанные одной из них: «Хоть потолкайся, матушка, около меня, так мне уж и легче будет».

Истинное положение на театре военных действий трудно было уяснить из официальных сообщений. Всегдашнее желание скрыть, смягчить,

смазать «неприятное» водило перьями тех, кто гонял в Петербург фельдъегерей.

«Под прикрытием того, что Россию не надо пугать, — рассказывает мемуарист, — в реляциях скрывались ошибки, принадлежащие главнокомандующим и их ближайшим помощникам. Между офицерами ходило мнение, что главным штабом армии реляции составляются в более выгодном свете с целью не огорчить государя».

Реляции, сколь бы искусно лживыми ни были, не могли скрыть ужасную истину. Гнилость и бессилие режима сделались очевидностью. Об этом знала Россия. Об этом знал царь. Его преследовали кошмары. Самолюбие Николая жестоко страдало. Одиноким, мрачным, неприкаянным, он бродил по ночному Петрополю. Или вдруг, никому не сказавшись, скрывался в Гатчине, сумрачной резиденции некогда задуманного отца. Существует предположение, что Николай отравился. Как бы там ни было, принял ли он яд или простудился, а смерть не заставила себя упрашивать, и в феврале пятьдесят пятого Николай преставился.

Не знаю, как на смерть самодержца откликнулся Нахимов. Понятно, он вместе с другими отстоял панихиду. Может быть, произнес несколько «приличествующих случаю» слов. Несомненно, однако, что Павел Степанович не убивался по Николаю Павловичу. Самое имя царя упоминалось Нахимовым лишь в писаниях особого, торжественного свойства, где уж без «формулы» не обойдешься. В интимной переписке имени государя не встретишь.

Наполеон некогда обвинял адмирала Сенявина в непочтительности и грубости. Так же, пожалуй, мог бы поступить и царь по отношению к Нахимову. Однажды очередной флигель-адъютант примчался из Петербурга в Севастополь и привез Павлу Степановичу августейший «поклон и поцелуй». И что же? Нахимов накинулся на царского посланца: «Вы опять с поклоном-с? Благодарю вас покорнос! Я и от первого поклона был целый день болен-с!» В другой раз, получая очередную царскую награду, Нахимов, не стесняясь присутствием многих офицеров, раздраженно воскликнул: «Лучше бы они мне бомб прислали!» Монаршие милости не имели в его глазах большей цены, чем хвалебное стихотворение некоего сочинителя, на которое Нахимов отозвался усмешливо: «Если этот господин хотел сделать мне удовольствие, то уж лучше бы прислал несколько сот ведер капусты для моих матросов».

И уж совсем не гнул Нахимов хребет перед клеветами, любимцами и родственниками императора. Известно его презрительное отношение к

«светлейшему» Меншикову, как и полное отсутствие искательства у великих князей, посещавших Севастополь. Павел Степанович ни в малейшей степени не страдал раболепием, лизоблюдством. Не оттого что сознавал свою незаменимость, вес свой и значение, хотя он это и сознавал, а потому что подобные качества были органически чужды ему, претили нравственности...

Николай умер, война продолжалась. Николай умер, Нахимов продолжал делать то, что делал изо дня в день с того часа, как погиб Корнилов и он, Нахимов, оказался «душою обороны». Ценою невероятных усилий, он добился главного: неприятель вынужден был откладывать и откладывать генеральный штурм.

Но оттяжка общего штурма, эпидемии на биваках союзников, ощутительная убыль живой силы — все это не означало, что враг перестал действовать. Происходили схватки ожесточенные и частые.

Именно в марте, когда Нахимов назначается временным военным губернатором Севастополя, когда его за отличие производят в полные адмиралы, Энгельс пишет: «Характер оборонительных укреплений, превосходство неприятельского (русского. — Ю. Д.) огня, несоответствие численности осаждающей армии с возложенной на нее задачей и, прежде всего, решающее значение Северного укрепления слишком хорошо поняты сейчас во всем лагере...» И тогда же, весной пятьдесят пятого года, резюмирует: «Ход событий в Крыму меньше всего позволяет говорить о близком падении Севастополя».

Крым был для Энгельса не только эпицентром военного землетрясения, но и подобием огромного увеличительного стекла: пороки обеих воюющих сторон обнаружились четко, зримо, убедительно. Энгельс высмеял бесстыдное хвастовство русских и союзных генеральских реляций; изобличил ошибки, глупость англо-французской и русской военщины; дал анализ боевой подготовки действующих армий и флотов, отметив, между прочим, что дух парадности, муштра и телесные наказания присущи не только вооруженным силам Северного Медведя, но и «просвещенной» Европы.

В работах сподвижника Маркса находишь немало замет о «нижних чинах» царской армии, то есть как раз о тех простых людях, вчерашних пахарях, которые одиннадцать месяцев бились с могучим врагом и которые находились в распоряжении «бабки-адмирала», как они все любовно называли Нахимова.

У Энгельса есть чеканная формула становой черты русской солдатской (читай: и матросской) массы — *отличные боевые качества*. «Русский

солдат является одним из самых храбрых в Европе. Его упорство почти не уступает упорству английских и некоторых австрийских батальонов. Ему свойственно то, что Джон Буль хвастливо приписывает себе, — он не чувствует, что побит. Каре русской пехоты сопротивлялись и сражались врукопашную долгое время после того, как кавалерия прорвалась через них; и всегда считалось, что легче русских перестрелять, чем заставить их отступить. Сэр Джордж Каткерт^[35] который наблюдал их в 1813 и 1814 гг. в роли союзников, а в 1854 г. в Крыму — в роли противников, с уважением свидетельствует, что они „никогда не поддаются панике“»^[36].

К общим чертам Энгельс добавляет штрихи, характерные для той же русской солдатской массы. Она крайне медленно поддается военному обучению; ее стойкость при поражениях объясняется не вообще мужеством, но пассивным мужеством, тем притуплённым моральным чувством, какое свойственно людям, от люльки привычным к покорности; у нее нет навыка к маневрированию, отсутствие которого понуждает действовать лишь походной колонной, ибо тогда «инстинкт сцепления храброй, но бездушной массы» компенсирует промахи офицеров.

Одна из замечательных заслуг Нахимова (и редкостных военачальников его типа) как раз и заключалась в умении и желании развязать, расковать, поощрить инициативу, сметку, находчивость подчиненных.

Общая оценка русского воина, сделанная марксовым «военным министерством», этот общий взгляд на русскую храбрость и стойкость великолепно дополняется, обретая живые, неизгладимые приметы, Львом Толстым. Толстой оставил проникновенные зарисовки. Он носил мундир, под огнем узнал и понял своеобычность русского героизма, угаданную еще Лермонтовым.

Лермонтов шел, так сказать, от противного:

«Грушницкий слывет отчаянным храбрецом, я его видел в деле: он махает шашкой, кричит и бросается вперед, зажмуря глаза. Это что-то не русская храбрость!..»

Толстой — напрямик:

«— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый? — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: — *храбрый тот, который ведет себя как следует*, — сказал он, подумав немного.

Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность

выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться, а не того, чего не нужно бояться*.

Мне хотелось объяснить свою мысль капитану.

— Да, — сказал я, — мне кажется, что в каждой опасности есть выбор, и выбор, сделанный под влиянием, например, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделанный под влиянием низкого чувства, — трусость...»

«В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. „Вот кто истинно храбр“, сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его*: те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом».

«Француз, который при Ватерлоо сказал: „La garde meurt, mais ne se rend pas“^[37], и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости».

Выше говорилось о постижении Нахимовым народного духа. Теперь скажем и о том, что народный дух жил в Нахимове. Вглядываясь в его поведение времен севастопольского испытания, поражаешься, сколь тождественны особенности, подмеченные великим писателем, с качествами, присущими Павлу Степановичу: и это «умение вести себя как следует», и эта естественность, «всегдашность» под огнем, и это отсутствие «великих слов», и эта спокойная деловитость среди

смертоносного вихря.

Нахимов был не просто героем. Он был героем народным. Одним из тех, кого с ревнивой бережливостью хранит память поколений.

Истомин возвращался с Камчатского люнета, заслонявшего, как щит, Малахов курган. Французские батареи гремели. Истомина просили переждать опасность в траншее. Он отмахнулся: «Э, батенька, все равно: от ядра нигде не спрячешься!» В тот же миг ядром оторвало ему голову.

Нахимов знал Истомина со времен Наварина: гардемарин Истомин плавал на «Азове». Он пестовался, как и Нахимов, в черноморской школе; войну встретил капитаном 1-го ранга, командиром линейного корабля «Париж»; Синоп «пристегнул» ему контр-адмиральные эполеты.

Если Нахимов как бы загодя принял неотвратимость своей смерти на севастопольских бастионах, то гибель соратников, в каких бы чинах они ни ходили, всегда отзывалась в нем острой болью. К этому он привыкнуть не мог, не умел. «Я уверен, — говорил моряк, участник обороны, — что никому так не горько при виде убитого или раненого флотского офицера, как Павлу Степановичу, который душою привязан ко всем нам».

Под тяжестью забот, огорчений, дум, весь захваченный боевой страдью, Нахимов находил и минуты и силы, чтобы послать родным погибшего хотя бы коротенькое письмецо. Рыдая, пережил он смерть Корнилова, плакал на похоронах Истомина. Брату его сообщил: «Вы знали наши с ним дружеские отношения, и потому я не стану говорить о своих чувствах и своей глубокой скорби... Спешу вам только передать об общем участии, которое возбудила во всех гибель товарища и начальника, всеми любимого. Оборона Севастополя потеряла в нем одного из своих главных деятелей, воодушевленного постоянно благородною энергиею и геройскою решительностью... По единодушному желанию всех нас, бывших его сослуживцев, мы погребли тело его в почетной и священной могиле для черноморских моряков, в том склепе, где лежит прах незабвенного адмирала Михаила Петровича и первая, вместе высокая жертва защиты Севастополя, покойный Владимир Алексеевич. Я берег это место для себя, но решился уступить ему».

Пушкин после смерти Дельвига сказал: «И мнится очередь за мной...» Нахимов после смерти Истомина сказал: «Есть место еще для одного: лягу

хоть в ногах у своих товарищей».

В начале восьмьсот пятьдесят пятого года союзники обзавелись новым партнером. Не бог весть каким, но все же: Сардинским королевством, государством, существовавшим на территории Италии вот уж второе столетие. В мае Балаклава, оккупированная англичанами, приняла сардинский корпус — пятнадцать тысяч брюнетов. В мае на крымскую землю высадились дополнительные французские резервы. В мае неприятель взял Керчь.

В первых числах июня, после страшной бомбардировки и отчаянной схватки, пали Камчатский люнет, Селенгинский и Волынский редуты. При защите люнета Нахимов еще б минута-другая был бы пленен или убит французами. Его спасли буквально матросские руки: матросы попросту сгребли в охапку своего «батьку» и оттащили прочь.

Неприятель чуть ли не вплотную приблизился к Малахову кургану. Победа предопределилась 20-кратным перевесом атакующих, двойным превосходством в числе выпущенных артиллерийских снарядов.

Офицер вражеского лагеря признавал, что война «сделала из Севастополя новую Трою, но русские оборонялись лучше, чем троянцы». Похвала лестная, однако несколько риторическая. Вчитайтесь не торопясь в другое свидетельство. Оно тоже из вражеского стана, но это уж такое, что, право, мороз подирает по коже. Вот солдатское письмо из Крыма, адресованное в Париж некоему Морису, другу автора:

«Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки им (русским. — Ю. Д.) давно пора капитулировать. На каждую их пушку — у нас пять пушек, на каждого солдата — десять. А ты бы видел их ружья! Наверное, у наших дедов, штурмовавших Бастилию, и то было лучшее оружие. У них нет снарядов.

Каждое утро их женщины и дети выходят на открытое поле между укреплениями и собирают в мешки ядра. Мы начинаем стрелять. Да! Мы стреляем в женщин и детей. Не удивляйся. Но ведь ядра, которые они собирают, предназначаются для нас! А они не уходят. Женщины плюют в нашу сторону, а мальчишки показывают языки.

Им нечего есть. Мы видим, как они маленькие кусочки хлеба делят на пятерых. И откуда только они берут силы сражаться?! На каждую нашу атаку они отвечают контратакой и вынуждают нас отступать за укрепления. Не смейся, Морис, над нашими солдатами. Мы не из трусливых, но когда у русского в руке штык — дереву и тому я советовал бы уйти с дороги. Я, милый Морис, иногда перестаю верить майору. Мне начинает казаться, что

война никогда не кончится. Вчера перед вечером мы четвертый раз за день ходили в атаку и четвертый раз отступали. Русские матросы (я ведь писал тебе, что они сошли с кораблей и теперь защищают бастионы) погнались за нами. Впереди бежал коренастый малый с черными усиками и серьгой в одном ухе. Он сшиб двух наших — одного штыком, другого прикладом — и уже нацелился на третьего, когда хорошенькая порция шрапнели угодила ему прямо в лицо. Рука у матроса так и отлетела, кровь брызнула фонтаном. Сгоряча он пробежал еще несколько шагов и свалился на землю у самого нашего вала. Мы перетащили его к себе, перевязали кое-как раны и положили в землянке. Он еще дышал: „Если до утра не умрет, отправим его в лазарет, — сказал капрал. — А сейчас поздно. Чего с ним возиться?“

Ночью я внезапно проснулся, будто кто-то толкнул меня в бок. В землянке было совсем темно, хоть глаз выколи. Я долго лежал, не ворочаясь, и никак не мог уснуть. Вдруг в углу послышался шорох. Я зажег спичку. И что бы ты думал? Раненый русский матрос подполз к бочонку с порохом. В единственной своей руке он держал трут и огниво. Белый как полотно, со стиснутыми зубами, он напрягал остаток своих сил, пытаясь одной рукой высечь искру. Еще немного, и все мы, вместе с ним, со всей землянкой взлетели бы на воздух.

Я спрыгнул на пол, вырвал у него из руки огниво и закричал не своим голосом. Почему я закричал? Опасность уж миновала. Поверь, Морис, впервые за время войны мне стало страшно. Если раненый, истекающий кровью матрос, которому оторвало руку, не сдается, а пытается взорвать на воздух себя и противника — тогда надо прекращать войну. С такими людьми воевать безнадежно».

Героизм людей, подобных безымянному матросу, представляется еще большим, если принять во внимание и то, что они подчас испытывали чувства, совершенно естественные и понятные в живом, из плоти и нервов человеке, оказавшемся в условиях почти нечеловеческих.

В солдатских и матросских речениях времен обороны, среди этих кратких, нередко шуточных определений пушек и ядер, перестрелки и бомбардировки, есть одно, поражающее своей горькой меткостью: *ступа*. Так называли осажденный Севастополь. Может, подразумевая сосуд, в котором толкут что-либо, часто и сильно ударяя тяжелым пестом; может, мельничную долбленую колоду, в которую бьют увесистые толкачи. То ли, другое ли, но мрачный смысл ясен: город был как ступа. И все они, защитники города, находились как в ступе, где их «толкли», обращая в прах, наполняя все окрест трупным запахом.

«Солдаты и матросы на работе, в походе, в одиночной посылке, на

отдыхе, спят ли, пищу ли варят, едят ли — все над ними тот же треск, все или того подобьет, или другого совсем выхватит. И это за днем ночью, за ночью днем, месяц за месяцем, без перерыва. Какое-то тупое, одуряющее состояние овладевало людьми» (из воспоминаний Г. Чаплинского.)

«Скоро ли кончится эта ужасная война; страшно как нам всем надоела». «Если уж суждено пасть, так пасть поскорее; а жить так и томиться, это хоть кого с ума сведет!» «Мы так, с позволения сказать, особачились на это время, что, право, поглупели все; да оно и не мудрено, когда ум одним только и занят; когда не только на яву, но и во сне все те же предметы, как-то: сражения, бомбардировки... Ведь решительно в голову ничего не лезет». «Когда это кончится? Мы начинаем терять всякое терпение... Ведь каждый день одно и то же, да и впереди не видишь ничего. Кроме того, досадно видеть, что противники наши обладают такими средствами, какими мы не в состоянии» (из писем капитан-лейтенанта П. Лесли).

Нахимов, конечно, тоже ощущал перерасход нервной энергии, страшную физическую (рвоты, головокружение, обмороки) и нравственную усталость. И хотя из осажденного города сообщали: «Наш Павел Степанович такой молодец, что чудо!», однако и прибавляли: «постарел». К тому же после контузий его мучили боли в спине, он перехворал еще и холериной.

Будь Нахимов «нечувствителен» к тому, что творилось вокруг, находился он в том спокойствии, которое почему-то приписывают весьма эмоциональным обитателям Олимпа, то он был бы небожителем, а не смертным, поправшим смерть. Он взнуздывал себя железной уздой: «Если я держусь еще на ногах, то этим я обязан моей усиленной, тревожной деятельности и постоянному волнению». И еще его «держала» общая надежда севастопольцев: «Пока Павел Степанович с нами...»

Если Нахимов являлся надеждой и опорой севастопольских подвижников, то и они являлись надеждой и опорой Нахимова. Павел Степанович, несомненно, был душой обороны. Но и его душа нуждалась в ответном, встречном движении. Масса воюющих людей и руководитель этой массы находились в постоянном, нерасторжимом общении. Они оказывали друг на друга сильное, благое, всedневное влияние. То было нравственное единение военачальника и подчиненных.

Да, он был «с нами». И редко, редко бывал с ними — с высшим командованием. Тут-то и крылись дополнительные, весьма ощутительные трудности.

Нахимов ходил не только под бомбами, ядрами и картечью, но и под

начальниками, «достоинства» коих вызывали у него горечь, сарказм, негодование. Высшее начальство, повелевавшее защитниками Севастополя, в том числе и Нахимовым, принадлежало к тем генералам, о которых позже было ядовито сказано: «В советах заседать могут, советы подавать не могут».

И Меншиков, и Горчаков, и Моллер, и Станюкович, и Берх, хоть и в разной степени, хоть каждый и по-своему, но всякий из них, распрекрасный в мирное время, оказался отнюдь не прекрасным в военное. И добро бы поступали, как поступал, например, Остен-Сакен, честно и открыто признавший превосходство над собою Павла Степановича. Так ведь нет же, мешали, досаждали, перечили Нахимову. Все они навязывали ему свое «батальное глубокомыслие», свое «первая колонна марширует... вторая колонна марширует...» — короче, именно то, что называется палками в колесах.

При этом они отчетливо сознавали, что именно Нахимов (молчаливо или вслух) признается в Севастополе «наибольшим». Отсюда желчное желание и подловатое умение уязвить его, колоть булавками, от которых, конечно, не помирают, но страдают чувствительно.

Сделать это было нетрудно: официально Нахимов не обладал той властью, какой обладал неофициально. Меншиков лишь незадолго до гибели Павла Степановича утвердил его скрепя сердце всего-навсего помощником Остен-Сакена, начальника Севастопольского гарнизона. И лишь в середине февраля 1855 года он был объявлен исполняющим должность начальника гарнизона. А до того Нахимову формально подчинялись только суда, стоящие на рейде.

Вообразите на минуту вместо Нахимова кого-либо из не всеупомянутых «превосходительств». В печальных севастопольских обстоятельствах любой из них непременно ограничился бы тесной рамкой — «моя хата с краю», распоряжаюсь, мол, судами на рейде, и баста, к прочему касательства не имею.

Не то Нахимов. Он не прячется за чужой спиной, не отходит в сторонку. Нахимов «превышает полномочия», потому что всегда слышит властный зов совести, отчетливо сознает долг перед отчизной, не мыслит бытия своего на отшибе от воюющего, льющего кровь, страждущего солдата и матроса.

Разумеется, несоответствие фактической роли и официального положения нередко задевало самолюбие Павла Степановича. Но всерьез мучило другое: это несоответствие затрудняло боевое дело, которому отдавался он денно и ночью.

Всматриваясь в боевую севастопольскую работу Нахимова, замечаешь характерную особенность: он действует нешумно, без фанфар, не забегаая вперед, а по-хозяйски, с той сметливостью и с той расторопностью, какие присущи русскому народу, «умному, бодрому народу», как сказал Грибоедов.

Мемуары свидетельствуют: одно лишь появление Нахимова среди подвижников крымской Трои удесят�еряло их энергию и отвагу. Но «эффект присутствия» не был бы столь силен, если бы адмирал демонстрировал лишь собственное «непоклонение» ядрам. Суть в том, что Павел Степанович, повторим, занят был не картинными разъездами, а страдной работой.

Вот он на 4-м бастионе.

Здесь особенно жарко. Бастион перепахан снарядами... Его громят несколько сот неприятельских орудий. Везде ямы, завалы, кучи щебня, камней, земли. Нахимов указывает командиру бастиона, бывшему капитану «Ростислава»: необходимо соорудить блиндажи. Тот мнетс¬я: и без того велики потери, не успеваем управляться с пушками, какие еще блиндажи... Нахимов настаивает: без них потери будут расти и расти... Две недели кровавого пота — и шесть блиндажей готовы. «Теперь я вижу-с, — говорит Нахимов, — что для черноморца невозможного ничего нет-с».

Вот он разглядывает неприятельские позиции.

Прильнув к подзорной трубе, Нахимов молчалив, хмур, сосредоточен. Подобно грoссмейстеру, размышляет он над «партией», которую разыгрывает неприятель. Потом высказывает свои соображения. И офицер инженерных войск, специалист, знаток, отмечает не без восхищенного удивления: старый моряк понимал все *последствия* вражеских саперных работ и твердо определял верные способы противодействия им.

Вот Нахимов узнает о почине батарейцев лейтенанта Перекомского.

Батарея расположилась у оконечности Южной бухты. Англичане так близко, что поражают прислугу из штуцеров. Ночью, тишком лихой Перекомский пробирается со своими ребятами на высоту, занятую британцами, и успевает отрыть траншейку. Еще несколько ночей — и матросы уже в таком расстоянии от врага, что не позволяют ему не только стрелять прицельно, но даже прицеливаться. Англичане вынуждены ретироваться. Перекомский получает «Георгия». Но для Павла Степановича, которому, конечно, в удовольствие наградить храбреца, важен почин артиллеристов: надoбно, как мы теперь бы сказали, внедрить этот почин, то есть внушить севастопольцам, как удобны и полезны вот такие контртраншеи, такие ложементы. И они возникают перед всеми

укреплениями Южной стороны.

Говоря по-нынешнему, Нахимов ценил инициативу снизу. Адмирал и кавалер, высший авторитет среди героев Севастополя, он внимательно, серьезно выслушивает бойкого матроса. Матросу не нравится что-то, он режет напрямик: «Это не так!» — «Отчего ж не так? Говори», — приглашает Нахимов. Матрос, ничуть не смутившись, толкует свое. Нахимов удовлетворен: «Молодец! Спасибо. Делай так...»

Не оспаривая простого матроса, коль скоро тот прав, Нахимов решительно возражает вице-адмиралу Станюковичу, старшему по должности и человеку с амбицией. Его превосходительство Михаил Николаевич желают списать с пароходо-фрегатов артиллерийских офицеров и отправить на бастионы? Нельзя, парирует Нахимов, пароходы должны действовать.

И точно, они действуют. Действуют по распоряжению Нахимова. Союзники дымят в виду Севастополя; двухтрубный винтовой корабль врага якорил фарватер, ведущий в Песочную бухту. «Таковое неуважение к нам требует урока», — полагает Павел Степанович.

«Урок» дали. И Нахимов, не слишком заботясь о щекотливом Станюковиче, рапортовал: «Молодецкая вылазка наших пароходов напомнила неприятелям, что суда наши хоть разоружены, но по первому приказу закипят жизнью, что, метко стреляя на бастионах, мы не отвыкли от стрельбы на качке...»

В другой раз те же пароходо-фрегаты Нахимов передвигает к Киленбалке и Георгиевской балке. Тем самым, не говоря худого слова начальнику порта, Нахимов прикрывает фрегатскими орудиями сухопутные фортификационные работы.

Ни едкое недоброжелательство главнокомандующего (а Нахимов знал, как презрительно относился к нему, «лапотному дворянину», светлейший князь, лукавый царедворец), ни субординация не остановили Нахимова, когда он в январе и феврале пятьдесят пятого года излагал свои соображения по охране рейда. Махнув рукой на самолюбие, Нахимов даже извинялся перед светлейшим за то, что «решился возвысить свой голос» и обратился не по инстанции. Какое к чертям самолюбие, ежели «появление неприятеля на рейде лишит армию весьма значительной части необходимых и прекрасных войск, а флот — огромной массы сословия, которое развивалось в продолжение полутора века».

Два нахимовских рапорта — образец ясного, конкретного и проницательного рассмотрения создавшейся обстановки. И образец военной распорядительности, не снившейся Меншикову.

Распорядительность, чуждую долгого делопроизводства и чертежной бумаги, расцвеченной красным и синим, показал Нахимов и постройкой моста через Южную бухту. Плавающий мост выручил Корабельную сторону, Малахов курган в самые тяжкие дни обороны: дорога с Городской стороны на Корабельную резко сократилась, стало быть, убыстрилось снабжение ключевых позиций всеми видами довольствия.

Выше упоминалось о чувствительной нехватке снарядов. Казалось бы, адмиралу ничего не оставалось, как скорбно уведомить о сем командование и, уведомив, умыть руки. Павел Степанович не желал отписываться. Он едет к главнокомандующему, почтительно и непреклонно доказывает необходимость экстренных мер. С ним соглашаются. Он тотчас, очевидно опасаясь мешкотности князя, испрашивает разрешения командировать на луганские заводы бывалого моряка, человека много испытавшего и пользующегося его, Нахимова, доверием. Враг канцелярщины, адмирал не потяготился составить наиподробнеею инструкцию, означив и такую частность, как надбавка платы за извоз... Когда же луганские «товары» начали прибывать в Севастополь, Нахимов, довольный, сияющий, гордится не собою, а вернувшимся из командировки посланцем: «Ну-с, благодарю, отлично распорядились, и, ежели все это осуществится, вам будет честь и слава спасения нашего Севастополя...»

Поглощенный прямым боевым делом, Нахимов поспевал как бы на ходу, но вовсе не походя решать множество дел, кажущихся — лишь кажущихся! — второстепенными.

Заметив, что матросы держат пищу в нелуженых медных котлах, он особым приказом запрещает пользование нелуженой посудой. Подходит летняя пора, он велит разбить у госпиталей палатки: пусть раненые и больные «отдышатся», а тем временем маляры побелят покои. Он устанавливает строгий порядок вырубки лесов близ Северной стороны; испрашивает награды отличившимся солдатам, матросам, офицерам; делает строгий выговор капитан-лейтенанту, подчиненные которого худо обуты; на свой страх и риск, не дожидаясь решения «инстанций», использует для нужд обороны портовое и корабельное имущество; организует эвакуацию раненых; ходатайствует о льготах гражданским чиновникам-севастопольцам: пусть как и военным, один севастопольский месяц идет за год службы; приказывает зачислить на флотское довольствие матросские семьи... У окружающих даже создается впечатление, что «адмирал владеет каким-нибудь неисчерпаемым источником, благодаря которому может удовлетворить нуждам всех и каждого».

«Источник» был в нем самом. Человек, близко знавший Нахимова,

писал: «Неутомимый враг всякого педантизма, всякой бумажной деятельности, он отверг все стеснительные при настоящем бедственном обстоятельстве формальности и этим только достиг возможности быстро и успешно осуществлять свои намерения».

Давно, вот уж сорок лет, как отгремела великая битва близ бельгийской деревни и юбилей не имел бы ровно никакого значения для осажденного крымского города, если бы союзники не вознамерились именно в этот день — 18 июня 1855 года — овладеть, наконец, Севастополем. «...Предполагалось, — иронизирует Энгельс, — разыграть сражение при Ватерлоо в исправленном издании и с другим исходом».

Надо, впрочем, признать, что генерал Пелисье (французский главнокомандующий, подчинявший своему бесцеремонному влиянию английского коллегу лорда Раглана) имел основания предполагать успех первого общего штурма: преимущество в живой силе и числе орудий, преимущество в боезапасе и вообще технических средствах, недавнее падение грозных Камчатского люнета, Селенгинского и Волынского редутов, известия об измотанности осажденных, о том, что ряды храбрейших из храбрых, то есть черноморских моряков, сильно прорежены... Несколько сотен сажен отделяли союзников от Малахова кургана, от Корабельной стороны. Локоть, как говорится, был близок, и Пелисье почти не сомневался в том, что укусит его крепко. Правда, самая близость неприятеля, смекал Пелисье, могла придать делу дурной поворот: ведь русские станут расстреливать штурмующих в упор... Но ежели славно поработать тяжелыми мортирами, ежели провести добрую артиллерийскую подготовку — о, тогда, черт подери, все силы преисподней не вызволят Севастополь. «Севастополь непобедим? Ну так я возьму его!» Артиллерийский шквал сметет русские верки. Потом — атака. И вот он, этот знаменитый город, в руках. Помешать может лишь чудо. А генерал Пелисье, опытный и упорный генерал, в чудеса не верит.

Итак, на рассвете 17-го, в канун знаменательного юбилея, орудия союзников открывают ураганный навесный огонь. Ближе к полуночи неприятельские паровые фрегаты, густо дымя, подходят к Севастопольскому рейду, и теперь уж пальба с моря сливается в один грохот и гул с сухопутной. «Город был буквально засыпан бомбами», — отмечает не дилетант и не сторонний человек, а генерал от артиллерии,

находившийся в самом городе. А капитан-лейтенант Лесли, отрывки из писем которого приведены выше, рассказывает: «Я не помню, чтобы все предыдущие бомбардировки были хоть мало-мальски похожи на эту; в этот раз был решительный ад».

Почти в темноте, когда солнце «нового Ватерлоо» еще не взошло, начался штурм, «Огненная река лилась по всему протяжению оборонительной стены», — отмечал современник.

Главный удар обрушился на Малахов курган. Французы сражались блестяще. (Вообще во всех почти боевых операциях они действовали горячее англичан.) «Застрельщицы батальоны» — батальоны отборных русских стрелков — усмирили бешеную атаку.

Однако французы ударили сызнова. Они ворвались на Корабельную сторону. Момент был роковой. Но тут подоспел генерал Хрулев; отчаянный храбрец, любимец солдат, он закричал: «Благодетели мои! В штыки! За мной!» Все заклокотало. Обеими сторонами владело безоглядное бешенство, Нахимов оказался в гуще свалки. Когда французы прорвались опять-таки к изножью кургана, перекололи нескольких офицеров, смяли солдат, адмирал с адъютантом в самую решительную минуту скомандовал: «В штыки!» — и отбросил неприятеля.

В какое-то мгновение вспыхнуло удивительное, порою прямо-таки необъяснимое чувство, которое иногда выручает погибающих: чувство превосходства над врагом, нечто похожее на то чудо, в которое не верил Пелисье. «По гарнизону, — вспоминал позже один из русских офицеров, — как будто бы пробежала какая-то особая сила одушевления, уверенности, отваги». То было *второе дыхание*. И на нем удержался Севастополь.

«Новое издание» Ватерлоо оказалось для французов подобием прежнего — они потерпели поражение. История согласилась на исправления лишь ради англичан — они не оказались победителями.

Еще не остыв после боя, еще дрожа, как запалившиеся кони, еще в поту и крови, севастопольцы с тревогой осведомлялись: уцелел ли Павел Степанович?

Близ Малахова солдат, корчась в муках, остановил верхового: «Постойте, ваше благородие! Я не помощи хочу просить, а важное дело есть!» Офицер склонился над ним. И услышал: «Скажите, ваше благородие, адмирал Нахимов не убит?» — «Нет». Солдат перекрестился: «Ну слава богу! Я могу теперь умереть спокойно».

И он умер, этот солдат.

А Павлу Степановичу оставались уже не месяцы — считанные дни...

Радостное настроение севастопольцев после июньской победы не убывало. Союзники, подчеркивал Энгельс, потерпели *«первое серьезное поражение»*.

Но князь Горчаков, сменивший Меншикова, уже обдумывал, как лучше, с наименьшими потерями вывести войска из города, оставление которого было им решено бесповоротно.

План свой (уходить на Северную сторону и далее) князь исполнил в августе, когда Нахимова уже не существовало. Но еще при жизни Павла Степановича Горчаков исподтишка готовил все необходимое для наведения плавучего моста через бухту. «Видали вы подлость? — горестно воскликнул Нахимов, обращаясь к хорошо ему известному смотрителю морского госпиталя. — Готовят мост через бухту — ни живым, ни мертвым отсюда не выйду-с».

Ни живым, ни мертвым... Можно не сомневаться, Павел Степанович, доживи до падения Севастополя, осуществил бы не замысел князя Горчакова, а свой собственный-остался бы с горсткой матросов и дрался бы до последнего вздоха последнего бойца.

(Вот это: «ни живым, ни мертвым» — символ веры многих моряков лазаревской закалки. Не только старика боцмана, жалевшего, что не взлетел на воздух в абордажной схватке с врагом, но и высших офицеров. Сослуживец Нахимова, упоминавшийся в этой книжке Ф. Ф. Матюшкин, оборонял Свеаборг. Конечно, черноморскую твердыню не сравнишь с небольшой балтийской крепостью. Но здесь важно другое — решимость стоять до конца: «Оборона в русском матросе и солдате, — говорил Матюшкин. — В трубах зданий и подвалах будет порох, где нельзя будет держаться, — взорвем или взорвемся».)

Наступило 28 июня 1855 года. Был вторник. Трехсотый день высадки союзников в Крыму. Двести шестьдесят седьмой день бомбардирования Севастополя. Летний день с мрачными тучами, с прерывистым блеском солнца, день в переменчивых тенях и привычном гуле канонады.

День этот давно уже перевалил за половину, когда с 3-го бастиона (по нему вдруг открылась усиленная пальба) прислали к Нахимову спросить каких-то распоряжений. Нахимов отвечал, что он сейчас сам приедет.

Племянник адмирала, штаб-офицер Воеводский пытался возражать: в поездке надобности нет, вот, мол, куча бумаг, требующих рассмотрения и подписи, можно-де словесно распорядиться, оставаясь дома и т. д. Павел Степанович улыбнулся: «Как едешь на бастион, так веселее дышишь». И велел, не мешкая, седлать лошадей для себя и адъютантов.

Поначалу Нахимов посетил одно из отделений оборонительной линии.

Там он поговорил со старым товарищем вице-адмиралом Панфиловым (Александр Иванович еще мичманом плавал с Нахимовым на корвете «Наварин»), напился у него лимонаду и присел на скамеечку подле блиндажа, дружески толкуя с пехотными и флотскими офицерами.

Послышался бандитский свист бомбы, все кинулись в блиндаж. Бомба с грохом «разрешилась», обдав блиндаж осколками. Нахимов не пошевелился. Он, как был, так и остался на скамейке. Потом попрощался со всеми и уехал, сопровождаемый адъютантами, на своей смирной, терпеливой казацкой лошадке.

Он ехал теперь на 3-й бастион. И ему действительно вроде бы дышалось «веселее». Посвист «чьи вы, чьи вы, чьи вы?» так и отдавался в ушах. А Павел Степанович с какой-то особенной светлой полуулыбкой косился на флаг-офицера Колтовского и словно бы размышлял вслух:

— Как приятно ехать такими молодцами, как мы с вами; так нужно, друг мой, ведь на все воля бога, и ежели ему угодно будет, то все может случиться: что бы вы тут ни делали, за что бы ни прятались, где бы ни укрывались, ничто бы не противостояло его велению, а этим показали бы мы только слабость характера своего. Чистый душой и благородный человек будет всегда ожидать смерти спокойно и весело, а трус боится смерти, как трус.

Одну за другой Нахимов осмотрел батареи 3-го бастиона. Дело шло давно установившейся чередой. И, убедившись, что оно идет как должно, Нахимов, право, мог бы возвращаться домой. Ведь и поехал-то он на 3-й бастион, чтобы «успокоить душу».

Однако рядом высился Малахов курган, этот жертвенник Севастополя, над которым и сейчас, когда вы читаете эти строки, оранжево пылает вечный огонь. Малахов курган высился рядом, и Нахимов поехал не домой, а туда, куда ездил почти ежедневно, туда, где в октябре минувшего года пал Корнилов.

На Малаховом царило редкое спокойствие. Ни ядер, ни бомб. Лишь постреливали с французских сторожевых постов. Да и постреливали-то, должно быть, попыхивая трубочкой или сигаркой, ожидая, не высунется ли чья-нибудь бедовая головушка.

Нахимов опять-таки осмотрел все батареи. Задержался на Корниловском бастионе. Будто какая-то неведомая сила так и тянула, так и притягивала адмирала к тому месту, где погиб его боевой товарищ.

Нахимов слез с коня. Защитники бастиона обступили «батюку», он поздоровался, назвал всех, как называл обычно, молодцами. И сказал с той своею неспешливой внятностью, с какой говорил, когда был удовлетворен:

— Ну, друзья, я смотрел вашу батарею, она теперь далеко не та, какой была прежде, она теперь хорошо укреплена. Ну, так неприятель не должен и думать, что здесь можно каким бы то ни было способом вторично прорваться. Смотрите же, друзья, докажите французу, что вы такие же молодцы, какими я вас знаю. А за новые работы и за то, что вы хорошо деретесь, спасибо!

Вот уж, сдается, самое время было возвращаться домой. Нахимов, однако, не торопился. Все с тем же светлым выражением на лице он неторопливо зашагал к вершине укрепления. Ему сказали (не без задней мысли — удержать, не пустить), что в бастионе идет церковная служба: завтра, мол, праздник, день Петра и Павла, его же, Павла Степановича, день ангела. Нахимов отвечал: «Идите, кому угодно, я вас не задерживаю-с».

Он поднялся над мешками с землею. Поднялся по грудь. Живая мишень была хорошо видна не только с ближайшей французской батареи. Живая мишень, адмиральские эполеты были приметны и с неблизких позиций врага, там, среди зеленых, а сейчас, под тучами, почти малахитовых холмов.

Сигнальщик подал Нахимову подзорную трубу. Павел Степанович прильнул к ней. Совсем рядом, едва не зацепив локоть адмирала, тупо ударилась штуцерная пуля. (Штатский из штатских не ошибся бы: пуля прицельная.) Нахимов молвил:

— Они сегодня довольно метко стреляют.

Было уже шесть пополудни. Над Севастополем струился тихо меркнувший свет. И так же тихо, негрозно багровело солнце в разрывах туч, по краям туч.

Раздался еще одиночный выстрел.

Тысячи штуцерных пуль минули Нахимова. Эта пробила ему голову. Он упал навзничь. Упал молча, не вскрикнув.

И никто из тех, кто стоял рядом с ним, позади него тоже не вскрикнул. Все только охнули, простонали, уронили руки.

Нахимова — он был без памяти — снесли вниз по Аполлоновой балке к бухте.

На Северной стороне, в госпитале собрались доктора. Подоспел и главный военный хирург Севастополя профессор Гюббенет. Нахимов дружил с ним и доверял ему не только как опытнейшему медику, но и как своему человеку.

«...Я нашел больного, — писал Христиан Яковлевич, — в следующем состоянии: он был совершенно бледен и, по-видимому, без всякого

самосознания, не владел языком и лежал на спине, склонившись несколько на правый бок. Правые конечности оказались бездейственными, левою же рукою он постоянно хватался за рану... По снятии перевязки оказалось, что рана начиналась от левого бугра лобной кости на один дюйм выше левого глазного края и, простираясь горизонтально назад по краю левой височной кости, оканчивалась на один дюйм выше левого уха. Все протяжение раны занимало в длину 6, а ширину 2 поперечных пальца. Пуля прошла спереди назад; отверстие входа свободно пропускало указательный палец и было меньше отверстия выхода. По вскрытие раны чрез соединение обоих отверстий прежде моего прибытия извлечены были из раны 18 осколков раздробленной кости».

Консилиум определил: состояние безнадежное. Врачи не верили, что Нахимов выживет. Севастополь хотел в это верить. Севастополь ждал и надеялся. Надеялся и ждал сорок часов. Сорок часов длились предсмертные страдания Павла Степановича Нахимова.

Сорок часов истекли. Началась агония. Минуты эти описаны капитан-лейтенантом Асланбековым:

«...Около 11 часов (30 июня. — Ю. Д.) дыхание сделалось вдруг сильнее, чаще, в комнате воцарилось молчание, доктора перестали спорить, и все подошли к кровати. „Вот наступает смерть“, — громко и внятно сказал Соколов^[38]... Итак, последние минуты Павла Степановича оканчивались. Больной потянулся первый раз, и дыхание сделалось реже; у всех пробежала мысль о смерти, но после нескольких вздохов он снова потянулся и медленно вздохнул, этот раз обман был так силен, что даже доктора ошиблись, приложили ухо к сердцу и утвердительно и печально кивнули нам головами, но жизнь героя Синопа еще боролась со смертью и как бы не хотела так легко оставить тело; умирающий сделал еще конвульсивное движение, еще вздохнул три раза, и никто из присутствующих не заметил его последнего вздоха, потому что уже столько раз обманывался; но прошло несколько тяжких мгновений, все присутствующие взялись за часы, и, когда Соколов громко проговорил „скончался“ на вопрос Воеводского, было 11 часов 10 минут»^[39].

В тот же день покойника повезли с Северной стороны на Городскую. Он лежал в шлюпке, шлюпку буксировали баркасы. Клубилось темное, будто и не июньское, а ноябрьское небо. Дул крепкий ветер. Черноморский ветер всегдашний спутник адмирала. Рейд ходил круто, боком, скалясь белым барашком. Ветер и бухта прощались с Нахимовым.

Его вынесли на Графскую пристань. Все тот же античный портик. И

эти звучные всплески. Удары и всплески вечного движения. Графская пристань.... К ней бессчетно подходил его вельбот. Он выпрыгивал из вельбота легким, пружинистым прыжком и тотчас с безотчетным удовольствием ощущал под ногами земную твердь... Гребцы на баркасах отдали честь покойному, как отдавали живому — взяли весла на валец.

Его принесли домой. В далекие-далекие, как бы и незапамятные времена близ дома погожим предвечерьем играла полковая музыка. Из окон дома он часто наблюдал за рейдом, любуясь каким-нибудь удалцом, идущим под парусами, или сердясь и досадуя на какого-нибудь капитана за неловкий маневр.

Его принесли в дом, где жил он «со скромностью древнего философа», дожидаясь начала кампании, начала навигации, в дом, где были его книги и подозренная труба, в комнату, украшенную одним-единственным портретом — портретом Лазарева; в дом, из которого не раз просили его переселиться в надежные казематы Николаевской батареи, а он не видел в том надобности, ибо дневал и ночевал на бастионах. В гробу его осеняли два адмиральских флага. И еще третий, бесценный: кормовой флаг линейного корабля «Императрица Мария», изодранный синопскими ядрами.

Священник вершил чин отпевания. В мир иной препровождал священник душу Нахимова. Но душа Нахимова оставалась здесь, в Севастополе: у гроба «теснились для последнего прощания любезная покойному его семья — моряки, тут же теснились офицеры и солдаты всех родов оружия и ведомств».

Адмиралы и генералы вынесли гроб. Как и было приказано, по семнадцати в ряд стоял почетный караул: армейские батальоны и сводный морской батальон — ото всех экипажей Черноморского флота. Как и было приказано, барабанщики ударили «полный поход» — торжественный рокот боевых барабанов, «жалуемый за военные отличия». Как было положено, корабли (те, что остались после затопления) приспустили флаги. Как и было положено, прогремел пушечный салют; тоже число залпов, каким салютовали адмиралу при жизни.

Все было как положено, как предусмотрено. И лишь без всякого приказания, без чьих-либо распоряжений легла огромная, подобная руинам города, скорбь. Утих ветер. Утихла пальба на бастионах. Звонил колокол. Ему вторил еще один. Оттуда, где Малахов курган, с Корабельной стороны.

Не в почетном карауле, не во множестве орденских подушек, не в «определенном числе» высших и старших офицеров, не в панихиде, отслуженной четырнадцатью священниками, и даже не в рокоте «полного похода» и орудийном громе было величие похорон Нахимова, а в глубоком

отчаянном безмолвии тысяч и тысяч севастопольцев, матросов и солдат, мужнин и женщин, детей и юнг, отставных боцманов, лодочных перевозчиков, сестер милосердия, доковых мастеровых, тех, кто сердцем знал и понимал «нашего Павла Степановича».

«Все были в слезах, стечение народа было так велико, что по всему пути шествия процессии до склепов, где покоятся Лазарев, Корнилов и Истомин, разрушенные крыши и обвалившиеся стены были тесно покрыты людьми всех сословий», — сообщал в Петербург очевидец.

И, как проникновенно заметил современник, в этом-то и была нетленная победа Нахимова — в народном признании, в народной любви, в безмолвной скорби погребения.

Слабый звон колоколов, уцелевших в обреченном Севастополе, разнесся по России. Многочисленными и горестными были отклики на смерть Нахимова, отклики, похожие на стон. Но вернее всего, мне кажется, передали чувство севастопольцев два слова, написанные моряком в частном, домашнем, не рассчитанном на огласку письме. Лишь два слова: *«Тоска страшная...»*

Близкий друг Пушкина, человек ума оригинального и острого, заметил однажды, что совет Вольтера годится и для великих людей. При этом Александр Тургенев пояснил: нам нужны герои.

Вольтер, вы знаете, утверждал, что господа бога следовало бы изобрести, если бы господа бога не было. Тургенев, иронизируя, предлагал тот же способ обзаведения великими людьми. Однако, иронизируя, автор «Хроники русского» высказал мысль серьезную: каждому народу нужны герои — драгоценные кристаллы национальной сущности.

У русского народа нет нужды в «изобретениях», насмешливо указанных Александром Тургеневым, ибо история России не поскупилась на людей истинно великих.

Бесстрашные, они страшились громких слов о самих себе. Как и народ, к которому принадлежали. И народ этот всегда в речениях о своих героях чурался фистулы громких слов.

Года два спустя после Крымской войны некий приезжий осматривал Севастопольские бастионы. Проводник, матрос-ветеран рассказывал про Нахимова: «Всюду-то он заглянет, и щи и сухарь попробует, и спросит, как живется, и ров-то посмотрит, и батареи все обойдет — вишь, ему до всего

дело есть...» Помолчав, задумчиво добавил: «Уж такой ретивой уродился!»

Я прочел об этом в некрасовском «Современнике». И вдруг увидел Нахимова. Стоя в сторонке, Павел Степанович слушал старика в залатанном мундиришке. А потом усмехнулся. Ласково, признательно усмехнулся...

Нахимов служил России. Капитальным в натуре его было чувство чести и долга. Отсюда родилась и окрепла суровая самоотреченность. Отрешаясь от личного, он был Личностью. Так пушечное ядро, канув в пучину, вздымает над морем литой, сверкающий столп.

Человек, любящий свое дело, счастлив вопреки несчастьям. Нахимов был человеком военным. «Ретивой» как раз и означает горячую, пылкую, самозабвенную преданность делу. Любовь эта была заражительной. Она покоряла офицеров, молодых и немолодых, матросов, и бывалых и новобранцев.

Заразительным, покоряющим было и его мужество. Не слепяще-краткое, как фальшфейер, этот сигнальный быстролетный огонь. Нет, спокойное, ровное, могучее. Как постоянное, глубинное течение.

Он видел и знал Родину. От моря Белого до моря Черного. От тех широт, где в океане занимаются зори, до тех, где вечер сгущает балтийскую прозелень. Родина была для него и в кораблях, что сошли с русских верфей, и в ветрах, натуго полнивших паруса, в дороге на Вязьму, в степном шляхе на Тавриду. А главное, была она в людях — недавних сеятелях и дровосеках, бурлаках и каменщиках, — в людях, которые, как и он, вступали врукопашную со смертью, побеждали смерть, принимали смерть...

Память народа — лоток золотоискателя. Грязь, гниль, дрянь уходят в небытие. Золото остается национальным богатством. Его нельзя множить, утрачивая уже добытое. И потому воители, подобные Нахимову, переживают свой прах.

Основные даты жизни и деятельности П. С. Нахимова

(Все даты даны по старому стилю.)

1802, 23 июня — Родился в селе Городок (ныне Вяземский район Смоленской области).

1813, 11 августа — Определен кандидатом на вакансию в Морской корпус.

1815, 14 июня — Прикомандирован для учебного плавания на бриге Морского корпуса «Симеон и Анна».

1815, 24 июля — Зачислен кадетом Морского корпуса.

1815, конец июля — Произведен в гардемарины.

1816 — В учебном плавании на бриге «Симеон и Анна» в Финском заливе.

1817, 20 мая — 17 сентября — В плавании на бриге «Феникс» по Балтийскому морю.

1818, 20 января — Произведен в унтер-офицеры.

1818, 9 февраля — Произведен в мичманы с назначением во 2-й флотский экипаж.

1820, 23 мая — 1 октября — Плавал на тендере «Янус» в Финском заливе.

1821 — Переведен в 23-й экипаж.

1822 — Совершил переход сухим путем из Архангельска в Кронштадт.

1822, 13 марта — Назначен на фрегат «Крейсер».

1822, 24 июня — 1825, 7 августа — Совершил кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». Во время плавания произведен в лейтенанты.

1825, 1 сентября — За плавание на фрегате «Крейсер» награжден орденом святого Владимира 4-й степени.

1826 — Назначен на 74-пушечный корабль «Азов», строящийся в Архангельске.

1826, 5 августа — 19 сентября — Совершил переход на «Азове» из Архангельска в Кронштадт.

1827, 10 июня — 8 октября — На корабле «Азов» в составе эскадры Д. Н. Сенявина, а затем Л. П. Гейдена совершил переход Кронштадт —

Наварин.

1827, 8 октября — Командуя батареей на корабле «Азов», участвует в Наваринском сражении.

1827, 13–27 октября — На корабле «Азов» в составе эскадры совершил переход Наварин — Мальта.

1827, декабрь — За отличие, проявленное в Наваринском бою, произведен в капитан-лейтенанты и награжден орденом святого Георгия 4-й степени.

1828, 4 апреля — 27 июля — Плавал на корабле «Азов» в составе русской эскадры в Средиземном и Эгейском морях.

1828, 15 августа — Вступил в командование корветом «Наварин».

1829, февраль — декабрь — На корвете «Наварин» в составе русской эскадры блокировал Дарданеллы.

1830, 17 января — 13 мая — На корвете «Наварин» в составе эскадры М. П. Лазарева совершил переход из Эгейского моря в Кронштадт.

1830, май — сентябрь — На корвете «Наварин» плавал в Балтийском море.

1831, май — сентябрь — Командуя корветом «Наварин», занимает пост карантинной брандвахты на Кронштадтском рейде, плавает до Гогланда, конвоирует торговые суда в Либаву.

1831, 31 декабря — Назначен командиром фрегата «Паллада».

1832 — Руководил построшкой и отделкой фрегата «Паллада».

1833, 24 июля — 11 октября — Командуя фрегатом «Паллада», находился в балтийском крейсерстве под флагом Ф. Ф. Беллинсгаузена.

1834, 24 января — Переведен в Черноморский флот. Назначен командиром корабля «Силистрия».

1834, 30 августа — Произведен в капитаны 2-го ранга.

1834–1836 — Руководит построшкой, оснащением и вооружением «Силистрии».

1836, 15 сентября — 18 ноября — Командуя кораблем «Силистрия», совершил переход Николаев — Очаков — Севастополь.

1837, 24 мая — 26 сентября — Находился в крейсерстве по Черному морю на «Силистрии».

1838, 23 марта — 1839, 18 августа — В отпуске по болезни.

1840, 9 марта — 8 июля — Принимал участие в перевозке войск и высадке десанта на кавказском побережье.

1840, 30 июля — 17 сентября — Руководил работами по установке мертвых якорей в Новороссийской бухте. Находился в крейсерстве Анапа — Новороссийск.

1841, 1 мая — 19 августа — Находился в плавании Севастополь — Одесса — Новороссийск — Севастополь.

1842, 15 июля — 28 августа — Находился в черноморском практическом плавании.

1843, 14 июня — 5 октября — Перевозил сухопутные войска из Одессы в Севастополь. Плавал в составе практической эскадры.

1844, 2 июля — 28 июля — Руководил работами по оборудованию Новороссийской бухты

1844, 18–19 июля — Содействовал, командуя «Силистрией», отражению нападения горцев на форт Головинский (кавказское побережье).

1845, 1 мая — 15 сентября — Находился в практическом плавании по Черному морю. За отличие по службе произведен в контр-адмиралы и назначен командиром 1-й бригады 4-й флотской дивизии.

1846, 8 марта — Имея флаг на фрегате «Кагул», командовал отрядом судов. Курсировал у восточного побережья Черного моря, охраняя Кавказ от контрабандистов.

1847, 3 мая — 3 июля — Имея флаг на корабле «Ягудиил», находился в плавании по Черному морю вторым флагманом практической эскадры.

1848, 2 мая — 2 октября — Имея флаг на фрегате «Коварна», командовал отрядом судов, находившихся в крейсерстве у Кавказа.

1848, 12 мая — 5 августа — Руководил работами по подъему тендера «Струя», затонувшего в Новороссийской бухте.

1849, 17 февраля — Назначен младшим флагманом практической эскадры.

1849, 8 июля — 26 августа — Находился в практическом плавании.

1850, 6 мая — 23 ноября — Имея флаг на фрегате «Кагул», командовал отрядом судов, крейсировавших у Кавказа.

1851, 30 марта — 10 апреля — Перевозил сухопутные войска из Севастополя в Одессу.

1851, 4 мая — 23 июня — Плавал вторым флагманом первой практической эскадры Черноморского флота.

1852, 30 марта — Назначен командующим 5-й флотской дивизией.

1852 4 июля — 25 октября — Имея флаг на линейном корабле «Двенадцать апостолов», командовал эскадрой, дважды перевозившей сухопутные войска из Севастополя в Одессу. Плавал в Черном море для «практики и эволюции».

1852, 2 октября — Произведен в вице-адмиралы.

1853, май — июнь — Командовал эскадрой, крейсировавшей у Херсонесского маяка.

1853, 17–24 сентября — Имея флаг на линейном корабле «Великий князь Константин», командовал эскадрой, осуществившей перевозку из Севастополя в район Анакрия — Сухум 13-й пехотной дивизии.

1853, 7 октября — За успешную переброску 13-й дивизии награжден орденом св. Владимира 2-й степени большого креста.

1853, 11 октября — Имея флаг на линейном корабле «Императрица Мария», вышел в крейсерство у анатолийского (Турция) побережья.

1853, 18 ноября — Командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопской бухте.

1853, 22 ноября — Возвратился с эскадрой из Синопа в Севастополь.

1853, 28 ноября — За победу при Синопе награжден орденом св. Георгия 2-й степени большого креста.

1853, 5 декабря — Назначен командующим эскадрой, дислоцирующейся на рейде Севастопольской бухты и у входа в Южную бухту.

1854, 7 сентября — На случай отсутствия В. А. Корнилова назначается главнокомандующим флота и морских батальонов.

1854, 21–23 сентября — Руководил формированием морских батальонов из береговых и корабельных команд.

1854, 6 октября — При первой бомбардировке Севастополя ранен в голову.

1854, 30 ноября — Принял обязанности помощника начальника Севастопольского гарнизона. (Назначение утверждено князем Меншиковым лишь в феврале 1855 года.)

1855, 13 января — За отличие при обороне Севастополя награжден орденом Белого орла.

1855, 25 февраля — Назначен командиром Севастопольского порта и временным военным губернатором города.

1855, 27 марта — За отличия при обороне Севастополя произведен в адмиралы.

1855, 26 мая — При штурме французами Камчатского люнета контужен.

1855, май — начало июня — Постройкой моста на бочках через Южную бухту обеспечил переброску подкреплений и боезапаса на Малахов курган.

1855, 6 июня — Руководил защитой Корабельной стороны Севастополя во время общего штурма войсками союзников.

1855, 28 июня — Смертельно ранен в висок штуцерной пулей на Корниловском бастионе Малахова кургана.

1855, 30 июня — Скончался.

1855, 1 июля — Похоронен в склепе собора св. Владимира рядом с М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым, В. И. Истоминым.

Краткая библиография

- К. Маркс и Ф. Энгельс*, Соч., том 9 (1957), тт. 10, 11 (1958).
- П. С. Нахимов*, Документы и материалы. М., 1954.
- Адмирал Нахимов*. Статьи и очерки. М., 1954.
- П. И. Белавенец*, Адмирал Павел Степанович Нахимов. Севастополь, 1902.
- Л. Горев*, Война 1853–1856 гг. и оборона Севастополя. М., 1955.
- Н. Ф. Дубровин*, История Крымской войны и обороны Севастополя, тт. I–III. Спб., 1900.
- А. П. Жандр*, Материалы для истории обороны Севастополя и для биографии Владимира Алексеевича Корнилова. Спб., 1859.
- Д. И. Завалишин*, Записки декабриста. Спб., 1906.
- А. М. Зайончковский*, Синопское сражение и Черноморский флот осенью 1853 года. Спб., 1903.
- Вице-адмирал Корнилов*. Материалы для истории русского флота. М., 1947.
- М. П. Лазарев*, Документы, тт. I–III. М., 1952–1961.
- Н. И. Пирогов*, Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950.
- В. Д. Поликарпов*, Павел Степанович Нахимов. М., 1960.
- А. П. Рыкачев*, Год Наваринской кампании. Кронштадт, 1877.
- Сборник рукописей*, представленных е. и. в. государю наследнику цесаревичу о Севастопольской обороне севастопольцами, тт. 1–3. Спб., 1872–1873.
- Е. В. Тарле*, Крымская война, тт. 1–2. М.—Л., 1950.
- Е. В. Тарле*, Город русской славы. М., 1954.

Иллюстрации



Наваринское сражение 8 октября 1827 года.



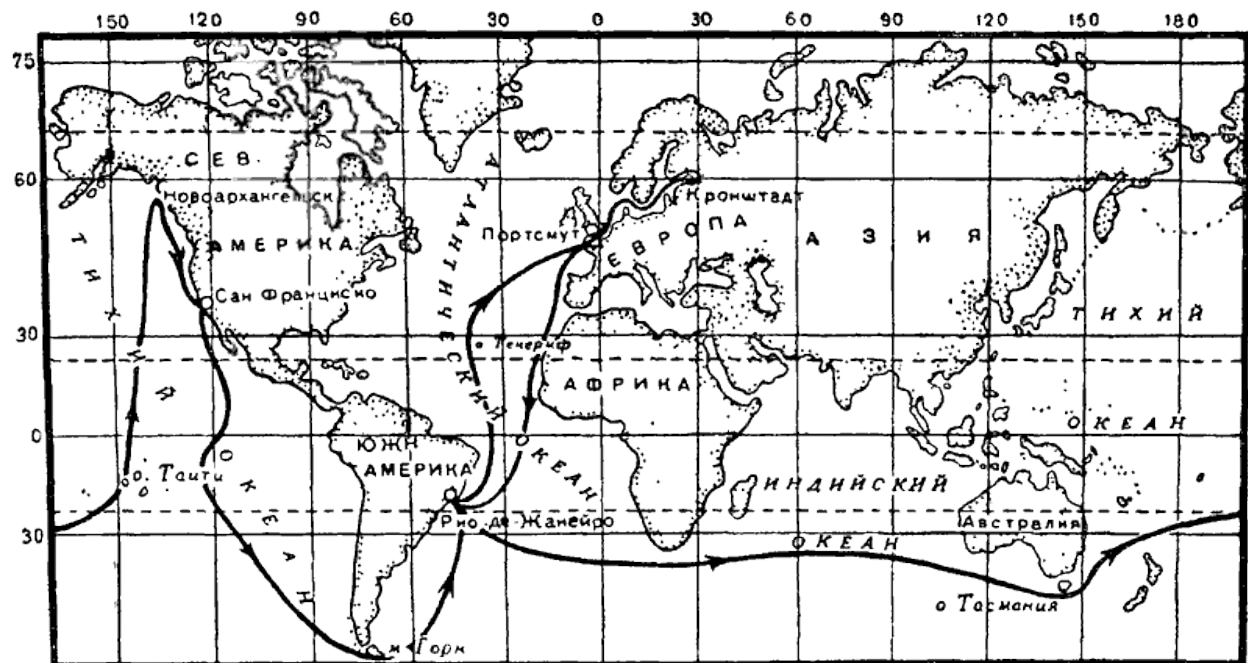
Синопское сражение 18 ноября 1853 года.



Затопление кораблей при входе в Севастопольскую бухту.



Юнги Черноморского флота: Рипицын, Фарасюк, Новиков, Цобер.



Маршрут кругосветного плавания фрегата «Крейсер».



Карта южной части Крыма.



Адмирал А. В. Корнилов.



Юнга Рыбаченко.



Петр Кошка.



«П. С. Нахимов на батарее». С картины И. Прянишникова.



«После бомбардировки». С картины И. Прянишникова.



«Отбитие штурма». С картины И. Прянишникова.



«П. С. Нахимов в Севастополе». С картины И. Прянишникова.



«Подвиг матроса Шевченко». С картины И. Прянишникова.



«Смерть П. С. Нахимова». С картины И. Прянишникова.

notes

Примечания

Очевидно, опечатка, ибо в официальном документе указана иная дата:
25 января 1823 года.

И. Г. Рубцов выехал из Бразилии в 1820 году. На датском купеческом судне добрался до Гамбурга, на любекском — до родного Петербурга. Долгие десятилетия Рубцов занимал скромные должности в гидрографическом департаменте морского министерства и вышел в отставку полковником. Век свой он дожил вдовым и бездетным на берегах Невы, в «собственном, благоприобретенном» деревянном домишке. До сих пор, кажется, остаются неопубликованными его карты и рисунки времен бразильской экспедиции.

На старых картах и в старых отчетах — Вандименова Земля.

Впрочем, И. И. Кадьян продолжал не только служить, но и подниматься по служебному трапу. Несколько лет спустя, уже капитан-лейтенантом, он командовал бригом «Усердие» и «усердствовал» так же, как и на лазаревском фрегате. И опять вызвал «открытое неповиновение» экипажа. Тогда уж Адмиралтейство не могло выдумать ничего лучшего, как сделать мордохлыста историографом эскадры.

«*Ладoga*» — шлюп, совершавший кругосветное плавание вместе с «Крейсером».

Старший брат Нахимова тоже служил на флоте. В 1834 году вышел в отставку и поступил инспектором в Московский университет. Платон Степанович пользовался общей любовью студентов, о нем благодарно вспоминал Герцен.

Если вам случится посетить Кронштадт, взгляните на памятник мичману Александру Домашенко. Памятник воздвигнут на средства, собранные его товарищами — балтийскими моряками.

Нахимов имеет в виду занимательные «Записки морского офицера» В. Броневского, участника сеньявинской кампании на Средиземном море (1805–1810).

За «Гангутом» следовали «Иезекииль» и «Александр Невский». (Прим. П. С. Нахимова.)

Книпель — снаряд для повреждения вражеской оснастки. Состоял из двух чугунных полушарий, соединенных стержнем или цепочкой.

Абукир и *Трафальгар* — знаменитые морские сражения в Средиземном море.

Сверх русского ордена П. С. Нахимов получил английский орден Бани, французский орден Почетного легиона и греческий орден Спасителя. См. журн. «Русский архив», 1902, № 3, стр. 451.

Русская армия действовала на Балканах и на Кавказе.

В старой морской периодике попался мне следующий эпизод. На маневрах у Кронштадта в присутствии Николая Первого один корвет задел другой. «Под суд командира!» — грозно распорядился император. Беллинсгаузен, стоя рядом с царем, проворчал: «За всякую малость под суд... Молодой офицер желал отличиться... Не размерил расстояния и наткнулся... Не велика беда! Если за это под суд, у нас и флота не будет». Николай несколько смягчился: «Все-таки надо расследовать». — «Это будет сделано, но не судом», — ответил Беллинсгаузен.

История флотов (не только парусных, но и паровых) знает случаи, когда командиры отдельных кораблей, замечая опасность, не перечили флагману и терпели аварии. Вместе с тем известно, что пример Нахимова не пропал втуне. Об одном из таких происшествий рассказал в письме к автору этой книги адмирал Е. Е. Шведе: «На моей памяти, кажется в 1915–1916 гг., первая бригада крейсеров Балтийского флота в составе крейсеров „Адмирал Макаров“, „Баян“, „Олег“ и „Богатырь“, возвращаясь в базу, должна была войти на внутренний шхерный фарватер у такого-то острова (название забыл), но вместо этого головной корабль направился по ошибке к другому входному острову и шел опасным курсом. Тогда старший штурман крейсера „Баян“ Степанов доложил своему командиру, что необходимо поднять сигнал: курс ведет к опасности. Увидев этот сигнал, головной корабль, на котором находился адмирал, изменил курс. Если бы сигнал был поднят зря, то поднявшему его грозили бы большие неприятности. Но это не был какой-то совершенно непредвиденный случай, а, наоборот, возможность его предусматривалась законом».

Цит. по книге: Э. Герштейн, Судьба Лермонтова. М., 1964, стр. 295.

Цит. по книге: *Б. Островский*, Лазарев. М., 1966, стр. 167. Ср. с высказыванием хотя бы Е. Ф. Канкрин: «Я министр финансов не России, а русского императора». Нет, чувство Лазарева сродни добролюбовскому: «Русь за царя я не предаю».

Насмешливое прозвище господ, утвердившихся в мягких креслах Адмиралтейства всесильной протекцией родственников. Нахимов чурался, даже как бы побаивался департаментов с их омутами клейстера и запахом сургуча.

1838 года.

Цит. по книге: *Б. Островский*, Лазарев. М., 1966, стр. 167.

Еще за десятилетие до того существовала карта Севастопольской бухты, «сочиненная штурманом ранга подпрапорщичьего Иваном Батуриным в 1773-м году». Однако никто раньше Клокачева, очевидно, столь отчетливо не понял практического значения гавани.

Англичане вели на Черном море весьма деятельную разведку. Уже при Лазареве там шныряли соглядатаи на фрегате «Мадагаскар», военном судне «Туркуаз», шхуне «Лорд Чарлз Спенсер», пароходе «Плутон» и др.

Марк Рене Монталамбер (1714–1800) — французский генерал, военный инженер, автор системы фортификации, получившей широкое применение в прошлом столетии.

Один капитан-лейтенант, наблюдавший «домашнего» Нахимова, писал: «В Павле Степановиче я никогда не подозревал способности быть столь любезным с дамами и особенно такую привязанность к детям».

Сизополь — турецкий порт на западном побережье Черного моря.

Центральный государственный военно-исторический архив, ф. 174, оп. 1, д. 2, л. 13 (сноска).

Еще до войны, при Лазареве, была сделана попытка сдать в архив кремневые ружья и вооружить флотские экипажи дальнобойными штуцерами. Деньги были отпущены (из черноморских сумм!), заказ сделан в Бельгии, «военпредом» поехал туда черноморец, капитан 2-го ранга, оружие было изготовлено, но... Но привезли штуцера в Петербург, «они остались там, — говорит историк флота, — и не дошли по назначению».

Герой Социалистического Труда, академик А. Н. Крылов, знавший ученика и сподвижника Нахимова, писал: «Адмирал Григорий Иванович Бутаков пользовался во флоте особенным уважением и огромной популярностью, и всякий, кому приходилось плавать в его эскадре, гордился этим».

Шпринг — один из способов постановки корабля на якорь, позволяющий удерживать его нужным бортом в нужном направлении.

П. И. Рикорд (1776–1855) — адмирал, академик, исследователь северной части Тихого океана, занимавший ряд высших командных должностей.

Центральный государственный архив Военно-Морского Флота, ф.
1166, оп. 1, д. 4, лл. 4, 4 (об).

Лисель — один из видов корабельных парусов.

Нечто подобное творилось и в британской армии. «В каждом полку есть офицер в звании полковника, — писал Энгельс, — на обязанности которого лежит добыть от казны для обмундирования своего полка известную сумму, из которой он, однако, тратит по назначению только часть. Остальное присваивается им как вознаграждение за хлопоты».

Как любезно сообщил мне адмирал Евгений Евгеньевич Шведе, у него долгое время хранились письма деда (по материнской линии), «который был учеником и другом Пирогова и который молодым врачом попал в Севастополь и был назначен начальником небольшого госпиталя, находившегося в доме, в котором жил Нахимов. Павел Степанович по вечерам беседовал с моим дедом и ранеными; дед в своих письмах дал очень рельефную и восторженную характеристику адмирала, приводил его остроумные замечания». К сожалению, корреспонденция севастопольского медика пропала во время блокады Ленинграда.

Джордж Каткарт (1794–1854) — английский генерал, автор нескольких военных трудов. Убит в Крыму, в сражении при Инкермане.

Любопытно не только различие русской и французской храбрости, но и отношение к «достопамятным изречениям».

Однажды Наполеон очутился в критическом положении. Подле него была только свита, отряд гренадер, горстка гвардейцев. «Солдаты! — крикнул император гренадерам. — Спасем Францию!» — «Друзья, — сказал он свите, — исполним наш долг». — «Господа, — скомандовал Наполеон гвардейцам, — следуйте за мною!»

«Поистине, — восклицает Бальзак, — чтобы найти такие оттенки во время боя, среди картечи и огня, нужно быть одновременно гениальным человеком и Людовиком XIV».

«Достопамятные изречения» раздражают Толстого, Бальзака — восхищают.

Гвардия умирает, но не сдается.

Алексей Егорович Соколов — старший врач одного из флотских экипажей.

Автор дневника, тяжело, искренне, больно переживая смерть Павла Степановича, не удержался от горькой укоризны: «Есть моменты, когда начальник должен показать пример храбрости и самоотвержения, но не подставлять без всякой нужды свою голову шальной пуле. Герой Синопа должен был продать свою жизнь гораздо дороже».

А. Б. Асланбегов, как это очевидно из приведенных строк, совершенно не разделял фатализма иных севастопольских подвижников. И формально и по существу он прав. Но, кажется, вся суть в том, что конец Черноморского флота, гибель Севастополя были для Нахимова концом и гибелью такого всепоглощающего значения, что собственная жизнь больше уж не имела ни смысла, ни значения, ни цены.